

ЮРИЙ

ПОЛЯКОВ

ПОДЗЕМНЫЙ ХУДОЖНИК



Собрание сочинений Юрия Полякова

Юрий Поляков

Подземный художник

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

Поляков Ю. М.

Подземный художник / Ю. М. Поляков — «Издательство АСТ»,
2019 — (Собрание сочинений Юрия Полякова)

ISBN 978-5-17-114415-9

В пятый том собрания сочинений известного русского писателя Юрия Полякова включены его знаменитый роман «Грибной царь», а также повести «Подземный художник» и «Возвращение блудного мужа». Все произведения объединены общей темой: любовь, семья, человеческие отношения в жестоком мире, где всем правят деньги, а плотский эгоизм торжествует над моралью и душевной чистотой. Специально для этого тома автором написано эссе «Писатель без мандата», рассказывающее о том, как он сам выживал в лихие девяностые годы, пытаясь противостоять стихии разрушения. Читателя, как всегда, ждет встреча с блестящим рассказчиком, тонким стилистом и остроумным собеседником.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-17-114415-9

© Поляков Ю. М., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Возвращение блудного мужа	6
1	6
2	17
3	29
Подземный художник	43
1	43
2	50
3	52
4	59
5	68
6	76
7	78
Грибной царь	81
Том I	81
1	81
2	83
3	88
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Юрий Поляков

Подземный художник

© Поляков Ю.М.

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Возвращение блудного мужа

Повесть

1

Саша Калязин, совсем даже неплохо сохранившийся для своих сорока пяти лет, высокий, интересный мужчина, был безукоризненно счастлив. Напевая себе под нос «Желтую субмарину», он торопливо и неумело готовил завтрак, чтобы отнести его прямо в постель любимой женщине. Прошло три недели, как он ушел от жены и обитал на квартире приятеля-журналиста, уехавшего в Чечню по заданию редакции. За это время жилплощадь, светившаяся прежде дотошной чистотой и опрятностью, какую могут поддерживать только застарелые холостяки, превратилась в живописную свалку отходов Сашиной бурной жизнедеятельности. Немытые тарелки возвышались в мойке, накренившись, как Пизанская башня, а в ванной вырос холм из нестираных калязинских сорочек. Брюки, в которых он ходил на работу в издательство, после отчаянной глажки имели теперь две стрелки на одной штанине и три на другой. Кроме того, кончались деньги: любовь не считает рублей, как юность дней... Но все это было сущей ерундой по сравнению с тем, что теперь он мог засыпать и просыпаться вместе с Инной.

Калязин зубами сорвал неподатливые шкурки с толсто нарезанных кружочков копченой колбасы, нагромоздил тарелки, чашки, кофейник на поднос и двинулся в спальню, повиливая бедрами, как рекламный лакей, несущий кофе «Голдспун» в опочивальню государыне-императрице. К Сашиному огорчению, Инны в постели не оказалось, а из ванной доносился шум льющейся воды. Калязин устроил поднос на журнальном столике, присел на краешек разложенного дивана, потом не удержался и уткнулся лицом в сбитую простынь. Постель была пропитана острым ароматом ее тела, буквально сводившим Сашу с ума и подвигавшим все эти ночи на такие мужские рекорды, о каких еще недавно он и помыслить не мог. Томясь ожиданием, он включил приемник, но, услышав заунывное философическое дребезжание Гребенщикова, тут же выключил.

Наконец появилась Инна – в одних хозяйских шлепанцах, отороченных черной цигейкой. Саша, как замороженный, уставился сначала на меховые тапочки, потом взгляд медленно заскользил по точеным загорелым ногам и потерялся в Малом Бермудском треугольнике. Инна любила ходить по квартире голой, гордо, даже чуть надменно делясь с восхищенным Калязиным своей идеальной двадцатипятилетней наготой. При этом на ее красивом, смуглом лице присутствовало выражение совершеннейшей скромницы и недотроги. Саша ощутил, как сердце тяжело забилося возле самого горла, вскочил, сгреб в охапку влажное тело и опрокинул на скрипучий диван.

– Подожди, – прошептала она. – Я хочу нас видеть...

Он понятливо потянулся к старенькому шифоньеру и распахнул дверцу. На внутренней стороне створки – как это делалось в давние годы – было укреплено узкое зеркало, отразившее его перекошенное счастьем лицо и ее ожидающую плоть.

Потом лежа завтракали.

– В ванной полно грязных рубашек, – сказала она.

– Да, хорошо бы постирать... – согласился он.

– Конечно! Но сначала надо их обязательно замочить, а воротники и манжеты натереть порошком...

– Натереть?

- Да, натереть. А ты и не знал? Показать?
- Нет, Инночка, я сам...
- Ах ты мой самостоятельный, все сам... Все сам! – Она засмеялась и нежно укусила его за ухо.
- Нет, не все...
- А что – не сам?
- Да есть, знаешь, одна вещь, даже вещица... – загнул он и почувствовал, как только-только улегшееся сердце снова подбирается к горлу.
- Ну, Саш, ну не надо... Опоздаем на работу!
- Не опоздаем!!

Потом одевались. Этот неторопливый процесс сокрытия наготы, этот стриптиз наоборот, начинавшийся с ажурных трусиков и заканчивавшийся строгим офисным брючным костюмом, неизменно вызывал у Калязина священный трепет. Нечто подобное, наверное, испытывали первобытные люди, наблюдавшие, как солнце, стгорая, исчезает за горизонтом. А вдруг навсегда?

* * *

Он высадил Инну за квартал до издательства, а сам, чтобы не вызывать ненужных ухмылок сослуживцев, всё прекрасно понимавших, поехал заправляться. Наполнив бак, Саша хотел было подрегулировать карбюратор в сервисе рядом с бензоколонкой, но потом передумал. Зачем? На днях он намеревался отдать машину своему недавно женившемуся сыну. Так они условились с Татьяной.

На решающий разговор с женой Калязин отважился три недели назад, убедив себя в том, что дальше так продолжаться не может. Полгода Саша, наоборот, был вполне доволен тем, что делит жизнь между двумя женщинами. А что еще нужно? Дома – Татьяна, привычная и надежная, как старый, в прошлом веке подаренный к свадьбе кухонный комбайн, а на службе – отдохновенная Инна. В любой момент можно было приоткрыть дверь в приемную и увидеть ее – деловитую, недоступную, прекрасную... Или даже подойти и спросить: «Инна Феликсовна, «Будни одалисок» ушли в типографию?» И получить ответ: «Конечно, Александр Михайлович, еще вчера...» И успеть заглянуть в ее глаза, темные, невозмутимые, лишь на мгновение – специально для него – вспыхивающие тайной нежностью. И тогда весь рабочий день, наполненный верстками, сверками, сигнальными экземплярами, занудными авторами, превращался в томительно-трепетное ожидание того момента, когда она, выйдя из издательства и прошмыгнув квартал, сядет в его конспиративно затаившуюся во дворике «девятку» и скажет: «Ну вот и я...» Скажет так, точно они не виделись вечность.

Потом, проклиная красные сигналы светофоров, он мчал Инну в Измайлово, чтобы успеть все, все, все и насытиться на неделю вперед. Чаше просить ключи было неловко. К возвращению друга-журналиста, любившего поболтать по фуршетам и презентациям, какие в изобильной Москве случаются ежедневно, они уже пили кофе и долгими молчаливыми взглядами рассказывали друг другу обо всем, что меж ними происходило полчаса назад. Так дети, выйдя из кино, тут же начинают пересказывать друг другу только что увиденный фильм. Друг возвращался с заранее заготовленной шуткой вроде «Пардон, но я тут живу!», бросал на Калязина насмешливо-завистливый взгляд и приоткрывал, проверяя, холодильник: бутылка хорошего коньяка была условленной платой за эксплуатацию помещения вкупе с мебелью. У ног журналиста терся черный пушистый Черномырдин – и в желтых кошачьих глазах горела немая мука, точно он хотел и не мог доложить вернувшемуся хозяину про все то удивительное, что происходило в квартире в его отсутствие.

Потом из Измайлова Саша отвозил Инну в Сокольники. Под окнами ее дома они еще некоторое время сидели в машине, не решаясь расстаться, обсуждая издательские интриги или какого-нибудь особенно странного автора, обещавшего объявить сухую голодовку, если его рукопись не будет принята. «Ну я пошла...» – говорила наконец Инна так, словно вот здесь, в «девятке», можно было остаться жить навсегда. «Подожди!» – шепотом просил Саша, и они продолжали сидеть, молча наблюдая, как окрестные жители выводят собак на вечернюю прогулку. Сигналом к расставанию обычно служило появление толстой дамы, ровно в десять выгуливавшей своего одетого в синий комбинезончик и, вероятно, жутко породистого песика. «Все, пошла, – сама себе приказывала Инна. – А то завтра буду сонная и вредная...» Последний поцелуй был таким долгим и страстным, что Сашины губы ныли аж до самой Тишинки.

Он жил в «сталинском» доме, возле монумента, воздвигнутого в честь трехсотлетия добровольного присоединения замордованной турками Грузии к могучей Российской империи. Потучнев и расхрабрившись «за гранью дружеских штыков», гордые кавказцы снова обрели свой возжеланный цитрусовый суверенитет, но ажурная чугунная колонна, свитая из закорючистых грузинских букв, продолжала стоять как ни в чем не бывало. Местные остряки называли ее «Памятником эрекции» и даже еще неприличнее.

В великолепный, с тяжелыми лепными балконами дом подле снесенного теперь дощатого Тишинского рынка они въехали шестнадцать лет назад. Татьяна год занималась обменом, выстраивала сложные цепочки, ухаживала за полубезумной старухой-генеральшей, жившей в этой квартире, и совершила невозможное: из двухкомнатной «распашонки» в Бирюлеве семья переехала сюда, в тихий центр, под трехметровые лепные потолки, вызвавшие буйную зависть у приглашенных на новоселье сослуживцев. Саша работал тогда в «Прогрессе». У него, как у старшего редактора, в неделю было два присутственных и три «отсутственных» дня.

И если раньше, уходя с работы, он напоминал коллегам: «Завтра я работаю с рукописью дома», то после новоселья стал говорить иначе, с тихой гордостью: «Завтра я – на Тишинке».

Теперь многое изменилось, округу застроили причудливыми многоэтажными сооружениями с зимними садами и подземными гаражами – «сталинский» дом, недавно отреставрированный, стал походить на старый добротный комод, забытый в комнате, заполненной новой стильной мебелью. Впрочем, нет, не старый – старинный.

Возвращаясь домой, Калязин обыкновенно заставал одну и ту же картину: Татьяна в домашнем халате лежала на диване и трудилась. Обменный опыт, обретенный много лет назад, не прошел даром. Когда ее зарплата заведующей районной библиотекой превратилась в регулярно выдаваемую насмешку, она устроилась в риелторскую фирму «Московский домовый» и стала вполне прилично зарабатывать. Саша, привыкший в своем номенклатурном издательстве к приличному окладу, тоже, кстати, ушел из обнищавшего «Прогресса» и некоторое время спустя, вместе с секретарем партбюро редакции стран социализма, которых внезапно не стало, затеял издавать эротический еженедельник «Нюша» – от слова «ню». Работали так: бывший парторг выискивал в старых порножурналах снимки девочек, а Калязин сочинял сексуальные исповеди, якобы присланные читателями.

Такие, например: «Дорогая редакция, до тридцати пяти лет я никогда не изменяла мужу. Но этим летом я познакомилась в Сочи с Кириллом, скромным милым студентом из Кременчуга. Не скрою, мне были приятны его робкие ухаживания, но ни о чем таком я даже не помышляла. Однажды мы уплыли в открытое море, и вдруг Кирилл, несмотря на воду, властно привлек меня к себе. Я пыталась сопротивляться, даже кричать, но берег был далеко, а юноша вдруг утратил всю свою робость и начал с бесстыдной дерзостью ласкать самые интимные уголки моего тела. Потом что-то огромное и пылающее, как безумное южное солнце, вторглось в меня с неистовой силой. Никогда я не испытывала ничего подобного с мужем, оргазмы накачивались на меня, словно волны, один за другим, я захлебывалась счастьем и соленой водой. Как мы не утонули, даже не знаю... На следующий день я улетила домой. Я очень люблю сво-

его мужа и дочь, но все время думаю о Кирилле. Что мне делать, дорогая редакция? Ольга З. Поселок Железняк-Каменский Свердловской области».

– Я бы точно утонула! – засмеялась Татьяна, прочитав это Сашино сочинение.

Дела поначалу шли хорошо, но потом рынок буквально завалили крутой эротикой и мягкой порнографией – и «Нюша» прогорела. Бывший парторг, лет двадцать назад получивший выговор за растрату взносов, умудрился доказать в американском посольстве, что его злобно преследовали при советской власти, получил грин-карту и скрылся с журнальной кассой. Кредит, сообща взятый на издание, Калязин возвращал один. Пришлось спешно продавать квартиру покойных родителей, приберегавшуюся для сына.

Несколько лет Калязин занимался более или менее успешными проектами вроде «Полной энциклопедии шулерских приемов», пока не встретил своего студенческого приятеля Левку Гляделкина и не устроился к нему в издательство «Маскарон».

Татьяна обычно, увидев воротившегося мужа, на мгновение отрывалась от телефона, сочувственно улыбалась и махала рукой в сторону кухни. Сочувственная улыбка означала сожаление по поводу того, что на новом месте Саше приходится самоутверждаться и работать на износ. Взмах руки свидетельствовал о том, что ужин ждет его на плите. Отправляясь на кухню, он слышал, как жена продолжала увещевать недоверчивого клиента:

– Ну что вы, Степан Андреевич, деньги будут лежать в ячейке, и никто, кроме вас, взять их не сможет... Ячейка – это сейф, очень надежный... А вот этого делать нельзя! Если вы снимете и увезете паркет – ваша квартира будет стоить на тысячу долларов меньше... Я понимаю, что паркет дубовый и уникальный, но нельзя!..

Жадно поедая ужин, Саша находил даже какое-то удовольствие в своей двойной жизни – неистово постельной там и уютно-кухонной здесь. Но все это когда-то должно было закончиться. И вот однажды, вернувшись после очередного, особенно тягостного расставания с Инной и застав жену говорящей по телефону все с тем же недоверчивым Степаном Андреевичем, Калязин вдруг осознал: на две жизни его больше не хватает. Надо выбирать. Выбирать между застарелым уютом семейной жизни и тем новым, что открылось ему благодаря Инне. А открылось ему многое! Он с ужасом понял, что все эти годы его мужской интерес томился и чах, подобно орлу, заточенному в чугунной клетке, питаюсь не свежим, дымящимся мясом, а сухим гранулированным кормом «Пернатый друг». Кроме того, в нем забурилась давно забытая деловитость, замаячили мечты о своем собственном издательстве, он даже стал придумывать название, в котором обязательно должны были переплестись, как тела в любви, два имени – Инна и Александр, или две фамилии – Журбенко и Калязин. «Жук» не подходил в принципе. Красивый, но бессмысленно-лекарственный «Иннал» он, поколебавшись, тоже отверг и пока остановился на названии «Калина». Не бог весть что, но все-таки...

Однажды Саша зачем-то рассказал о своих издательских планах жене, но она только пожала плечами, осторожно напомнив, что бизнес в его жизни уже был и ничего путного из этого не вышло. Зато Инна пришла в восторг, зацеловала его и сообщила, что к ней неравнодушен директор целлюлозного комбината и что на первое время она выпросит у него бумагу в долг под небольшие проценты. Этой вопиющей нечуткостью жены Калязин и хотел воспользоваться для решающего объяснения, но почему-то не воспользовался, а потом навалились хлопоты со свадьбой сына. Дима спокойно учился на третьем курсе полиграфического и вдруг как с ума сошел: женюсь!

Девочка оказалась премиленькой и скромной, работала товароведом в фирме, торгующей керамической плиткой. Познакомились они, к удивлению Саши, в интернете. Дима выходил в сайт знакомств под «никнеймом», сиречь псевдонимом, Иван Федоров.

– Ну ты хоть первопечатником оказался? – спросил, смеясь, Калязин.

– Какое это имеет значение? – покраснел сын.

– А ты про геномию слышал?

– Это что?

– Это когда дети наследуют черты добрачных партнеров матери.

– Ну и на кого я похож?

– Дима, как не стыдно! – возмутилась Татьяна.

В юности у нее случился полугодичный студенческий брак, очень неудачный. Мимолетный муж был, кажется, адыгом, учился с ней на одном курсе, страстно влюбился, сломил сопротивление юной москвички, ошарашенной его черкесским напором, и женился, не получив разрешения родителей. В один прекрасный день приехали братья и увезли самовольника в Майкоп, где он под строгой охраной родни и заканчивал свое образование. С тех пор Татьяна терпеть не могла кавказцев.

Со своей будущей женой Саша познакомился в стройотряде за год до окончания полиграфического. Они возводили колхозную ферму, и, когда заканчивали кирпичную кладку, к ним прислали бригаду штукатурщиц из Института культуры. Татьяна, тогда еще стройная, худенькая, но уже полногрудая, понравилась ему сразу: было в ней какое-то грустное завораживающее обаяние. Шарм, как говорят французы. Калязина, правда, сильно смущало обручальное кольцо на ее пальце. Дело в том, что свою семейную драму Татьяна от всех скрывала, плела подружкам, будто муж уехал ухаживать за больной матерью и скоро вернется. Вела она себя, кстати, как замужняя: постоянно подкатывавших к ней стройотрядовских жеребцов отшивала с суровым высокомерием или насмешливой снисходительностью – это зависело от того, насколько нагло вел себя пристававший. А среди них были лихие, видные ребята, щеголявшие отлично подогнанной по фигуре стройотрядовской формой с золотым значком ударника ССО. Да взять хотя бы того же Левку Гляделкина – бригадира, гитарера, девичьего искusstителя и обаятельного расхитителя колхозной собственности, небескорыстно снабжавшего близживущих садоводов дефицитными стройматериалами.

Трудно сказать, почему Татьяна обратила внимание на Сашу, возможно, именно потому, что он единственный не пытался после трудового дня увлечь ее в подсолнуховые джунгли, подступавшие к самой стройплощадке. Он только иногда тайком клал ей на заляпанный раствором дощатый помост букетики лесных цветов. Интеллигентные штукатурщицы, стараясь всячески соответствовать своей временной специальности, пихали смущавшуюся Татьяну в бок, громко хохотали и предупреждали робкого воздыхателя:

– Ой, смотри, Коляскин, у Таньки муж ревнивый! Черкесец! Отрэжэт кинжалом!

Татьяна страшно злилась, начинала убеждать, что муж из интеллигентной профессорской семьи и только полные идиотки верят, будто в Адыгее все ходят с кинжалами. Саша, слушая эти разъяснения, грустнел и сникал, сознавая бессмысленность своих робких ухаживаний, но цветы продолжал подкладывать.

Все произошло в воскресенье, в День строителя. Несмотря на то что в отряде был объявлен строжайший сухой закон, студенты, с молчаливого согласия начальства, хорошо выпили и закусили. Стол, кстати, не считая денег, накрыл ушлый, но щедрый Гляделкин. Разожгли огромный костер, дурачились, танцевали и пели под гитару:

За что ж вы Ваньку-то Морозова,

Ведь он ни в чем не виноват...

Разошлись глубокой ночью. Одни, большинство, поодиночке разбрелись в вагончики спать, а другие, меньшинство, попарно улизнули в черные заросли подсолнечника – предаваться беззаботной студенческой любви. У изнемогшего, подернувшегося седым пеплом костра остались только Саша и Татьяна. Они сидели молча, слушая ночную тишину, нарушаемую изредка треском стеблей и глухими вскриками.

– Я тебе нравлюсь? – спросила вдруг она.

– Очень.

– Ты уверен?

– Уверен.

– Тогда можешь обнять меня. Холодно...

– А муж? – Саша задал самый нелепый из всех вопросов, допустимых в подобной ситуации.

– Объелся груш... – с горькой усмешкой ответила Татьяна. – Ладно, пора спать!

– Может, прогуляемся перед сном? – жалобно попросил Калязин.

– Может, и прогуляемся... – кивнула она, а потом, наверное через час, вцепилась пальцами в его голую спину и прошептала: – Они смотрят на нас!

– Угу... – не поняв, согласился Саша, погруженный в глубины плотского счастья, столь внезапно перед ним расступившиеся.

– Они смотрят! – повторила Татьяна.

– Кто? – Калязин испуганно извернулся и посмотрел вверх.

На фоне уже сереющего неба подсолнухи были похожи на высоких и страшно отощавших людей, которые, обступив лежащую на земле пару, осуждающе покачивали головами...

– Ты думаешь, они понимают? – спросил он.

– Конечно.

– Тебе не холодно?

– Это от тебя зависит...

На следующий день, в понедельник, приехал комбайн и выкосил подсолнечное поле. Оставшиеся две недели прошли в строительной штурмовщине и конспиративных поцелуях в глухих, пахнущих свежим цементом уголках недостроенной фермы.

– Ну пока! – На вокзале Татьяна протянула ему бумажку с номером телефона и шепнула: – Звони!

– А муж? – снова спросил Саша, к тому времени уже влюбленный до малинового звона в ушах.

– Коляскин, – рассердилась она, – если ты еще раз спросишь про мужа, я... я не знаю, что я сделаю...

Известие о том, что никакого мужа нет в помине уже три года, ввергло Сашу в чисто индийский восторг, он издал нечеловеческий вопль и, одним махом разрушая всю старательную многодневную конспирацию, поцеловал ее в губы прямо на перроне, на глазах изумленной общественности. Через неделю, накупив на половину стройотрядовской зарплаты роз, он сделал ей предложение, однако, наученная горьким опытом, Татьяна вышла за него только через год, после окончания института. Когда в черной «Волге» с розовыми лентами на капоте они мчались в загс, Татьяна шепнула жениху, что в прошлом веке девушки выходили замуж исключительно невинными, а теперь – чаще всего, как она, беременными. О времена, о нравы!

От тех полудетских времен остался их главный семейный праздник – День строителя и привычка постельное супружеское сплочение именовать не иначе как «прогуляться перед сном».

А неудачный разговор с сыном удалось свести к шутке, потому что даже теща, скептически относящаяся к Саше, всегда говорила, что Димка «до неприличия вылитый Калязин». И про геномию он ляпнул совсем по другой причине.

Однажды Инна, одеваясь, спросила как бы невзначай:

– Тебе нравится имя Верочка?

– Нравится... А что?

– Если у меня будет от тебя девочка, я назову ее Верой...

– А если у меня от тебя, – засмеялся Саша, – будет мальчик, я назову его...

Он осекся и помрачнел, вспомнив Гляделкина. Нет, конечно, Саша понимал, что все это жуткие глупости, бред каких-то генетических шарлатанов, но ничего не мог с собой поделать. Инна поняла его по-своему.

– Не расстраивайся! У меня все в порядке. Полагаю, ты не думаешь, что я могу тебя этим шантажировать?

– Нет, ты не поняла... Просто... Просто я хочу поговорить с ней.

– А ты не торопишься? – Инна поглядела на него запоминающе.

– Нет, не тороплюсь... Я тебя люблю.

После свадьбы Дима переехал к жене и родителей навещал нечасто.

Во внезапной женитьбе сына Саша увидел особый знак того, что под его жизнью с Татьяной подведена черта и настало время принимать решение. Надо сказать, Инна никоим образом не подталкивала его к этому шагу, не заводила разговоров о будущей совместной жизни и только иногда, в «опасные» дни, доставая из сумочки яркие квадратные упаковочки с характерными округлыми утолщениями, смотрела на него вопрошающе... И однажды Калязин зашвырнул эти квадратики под диван.

– Ты смелый, да? – спросила Инна, когда они потом лежа курили.

– Да, я смелый...

– Хочешь с ней объясниться?

– Откуда ты знаешь?

– Я про тебя все знаю. Не говори ей обо мне. Скажи, что разлюбил ее, ваш брак исчерпан и ты хочешь пожить один... Ты принял решение. Понял?

В самих этих словах, но особенно в жестокой и простой формулировке «брак исчерпан» прозвучала непривычная и неприятная Калязину командная деловитость. Инна почувствовала это.

– Знаешь, не надо с ней говорить, – поправились она. – Нам ведь и так хорошо. Я тебя и так люблю...

– Что ты сказала?

– А что я такого сказала?

– Ты этого раньше никогда не говорила!

– Разве? Наверное, я не говорила это вслух. А про себя – много раз...

Но объяснение все-таки состоялось, и в самый неподходящий момент. В воскресенье вечером Саша принимал ванну, а Татьяна зашла, чтобы убрать висевшие на сушилке носки.

– Ого, – улыбнулась она, – хоть на голого мужа посмотреть...

Особенно обидного в этом ничего не было, жена давно относилась к их реликтовым «прогулкам перед сном» с миролюбивой иронией, но Саша аж подпрыгнул, расплескав воду:

– Скоро вообще не на кого смотреть будет!

– Почему?

– Потому что нам надо развестись!

– Ты серьезно?

– Серьезно!

И его понесло. Ровным металлическим голосом, словно диктор, объявляющий войну, он говорил о том, что она не понимает его, что их совместная жизнь превратилась в пытку серостью, что ему нужна совершенно иная жизнь, полная планов и осуществлений, и что его давно бесит ее бесконечный риелторский дундеж по телефону. Татьяна слушала его, широко раскрыв от ужаса глаза.

– Я все обдумал и принял решение, – закончил Калязин, гордясь тем, что ни разу не сбился, и потянулся за шампунем.

– Какое решение?

– Я хочу пожить один. Без тебя...

– Ну и сволочь ты, Сашка! – прошептала Татьяна и швырнула в мужа носки, которые, не долетев, поплыли по воде. – Уходи! Собирайся и уматывай!

Она выскочила из ванной, так хватив дверью, что осыпалась штукатурка.

Вытершись, расчесав влажные волосы и ощутив некоторое сострадание к оставляемой жене, Саша зашел на кухню. Татьяна плакала, уставившись в окно. Стекло от появления распаренного Калязина чуть запотело, и жена, продолжая всхлипывать, стала чертить на стекле мелкие крестики, потом, повернувшись, долго вглядывалась в его лицо.

– У тебя кто-то есть? – спросила она.

– Н-нет... Просто наш брак исчерпан!

– Есть... Я догадалась. Молоденькая?

– Никого у меня нет. Просто я хочу жить один.

– Саша, Саша. – Она подошла и ледяными пальцами схватила его за руки. – Зачем? Не делай так! И перед Димкой неудобно... Он же только женился...

– При чем тут Димка?

– Ну-у, Са-аша! – снова заплакала она, некрасиво скособочив рот. – Я же не смогу без тебя... Что я буду делать?!

– Квартиры менять! – бухнул он и подивился своей безжалостности.

– За что? За что мне это? Са-аша! Какой ты жестокий!.. Саша... Ну ладно... Пусть будет она. Пусть! Я не заругаюсь... Только не уходи!

– Я принял решение! – повторил он, чувствуя, что от этого неуклюжего слова – «не заругаюсь» – сам сейчас расплчется.

На мгновение вдруг показалось: это и есть выход. Татьяна, гордая, ревнивая Татьяна разрешает ему иметь любовницу, в голове даже мелькнула нелепая картина трояственного семейного ужина, но уже был раскручен веселый маховик разрушения и сердце распирает восторг мужской самостоятельности, забытой за двадцать три года супружества.

– Саша! – взмолилась она.

– Нет, я ухожу...

Жена побрела в спальню и упала на кровать. Когда зазвонил телефон, она даже не шелохнулась. Калязин снял трубку – и дрожащий старческий голос попросил позвать Татьяну Викторовну.

– Тебя! – сообщил Саша.

Но она лишь еле заметно качнула головой.

– Татьяны Викторовны нет дома.

– Странно. Она сама просила меня позвонить... Это Степан Андреевич. Передайте ей, что я согласен постелить вместо паркета линолеум...

На следующий день он ушел рано, даже не заглянув в спальню. А в обед позвонил приятель-журналист и сообщил, что едет в Чечню.

– Чего ты там не видал? – удивился Калязин.

– Командировка. Обещали автомат выдать. Мужская работа. Ты-то хоть помнишь тяжесть «акаэма» на плече?

– Не помню...

– Ну конечно, тебя только Инкины ноги на плечах интересуют. Вот так мы империю и профукали.

– А можно без пошлостей?

– Можно, но скучно... Черномырдина не забывай кормить! Если похудеет, откажу от дома. Понял? Ключи оставляю, где обычно...

– Понял, спасибо! – И, бросив трубку, Калязин метнулся в приемную к Инне. – Сегодня едем в Измайлово! – шепотом доложил он.

– Но мы там были позавчера! – удивилась она, привыкшая к еженедельности свиданий.

– Открылись новые обстоятельства!

Девушка строго посмотрела на Сашу, вздохнула и стала звонить, отменяя примерку, назначенную на вечер. По пути Саша остановился у супермаркета и, делая вид, что не понимает ее недоуменных взглядов, купил целую сумку разных вкусностей и вина. Черномырдину достался такой огромный кусок колбасы, что кот долго не мог сообразить, с какой стороны начать есть, а потом, наловившись, круглыми желтыми глазами удивленно следил за ненасытными людьми, нежно терзавшими друг друга на скрипучем диване.

Когда Инна с обычной неохотой встала, чтобы идти в душ, Калязин тихо попросил:

– Не надо!

– Милый, но мы же не можем здесь остаться?

– Можем...

– Ты... Сделал это?

– Да, я сделал это! – рассмеялся он и изобразил зачем-то идиотский американский жест: – И-е-е-ссс!

– А она?

– Она согласна, чтобы у меня была любовница!

– Зато я теперь не согласна, чтобы у тебя была жена... – Сказав это, Инна посмотрела на него с той строгой неприступностью, какую напускала на себя только в издательстве.

– Ты останешься? – жалобно спросил он.

– Завтра.

Одному на новом месте Саше спалось плохо, а вдобавок привиделась какая-то чертовщина: будто бы среди ночи вернулась Инна, тихонько легла рядом, и он стал нежно гладить ее в темноте, а потом вдруг с ужасом обнаружил, что от привычного шелковистого эпицентра нежная шерстка стремительно разрастается, покрывая все девичье тело. Утром он обнаружил рядом спящего Черномырдина.

К вечеру следующего дня Калязин заехал домой за вещами. Татьяна все так же неподвижно лежала на кровати и не брала трубку звонившего не переставая телефона. Казалось, она вообще за эти двое суток не вставала. На столе осталась грязная посуда, чего никогда прежде не было, а в пустой ванне так и валялись все еще мокрые носки.

– Я пошел! – сообщил Калязин, заглянув в спальню с большой спортивной сумкой, с которой Димка, занимавшийся легкой атлетикой, ездил на сборы. Но Татьяна даже не пошевелилась.

Инна ждала его в машине, и они помчались в Измайлово. Но и в эту ночь уснуть им вместе не удалось. Иннина мать с отчимом уехали на юг и оставили на нее шестилетнюю сестру. В течение двух недель каждый вечер Инна уезжала от него, а добравшись до дома, звонила – и они говорили, говорили до глубокой ночи. О чем? А о чем говорят люди, для которых главное – слышать в трубке голос и дыхание любимого человека?

Как-то он лежал в постели и, заложив руки за голову, с привычным упоением наблюдал Иннин стриптиз наоборот. А она, зная эту его слабость, с расчетливой грацией медлила, затягивала одевание, придумывая разные волнительные оплошности:

– Ой, я, кажется, трусики забыла надеть... Ах нет, не забыла... Слушай, а может, мне вообще лифчик не надевать?

– Тебе можно! – блаженно кивнул он, по-хозяйски восхищаясь ее маленькой круглой грудью с надменно вздернутыми сосками.

И вдруг запищал телефон. Дело обычное: в основном звонили из редакций и возмущались, что журналист вовремя не сдал заказной материал, а узнав, что тот в Чечне, обещали, если вернется живой, убить его за нарушение всех сроков и договоренностей. Потом, конечно, спохватывались и осторожно выпытывали, где он именно – в Грозном или Ханкале, и все ли у него в порядке.

Калязин привычно снял трубку.

Это была Татьяна, в конце концов вычислившая местонахождение блудного мужа. Голос у нее был грустный, но твердый.

– Ну, как тебе живется одному? – спросила она.

– Нормально.

– Не голодаешь?

– Нет...

– Решение не переменял?

– Нет.

– Я думала, ты позвонишь сегодня...

– Почему?

– День строителя.

– А-а...

– Ты, конечно, наговорил мне страшных вещей, но кое в чем был прав... Я заходила к тебе сегодня на работу. Хотела поговорить. Но ты рано ушел. Левка сказал, у вас выставка?

– Да, выставка...

– Димке звонил?

– Нет.

– Позвони. Я ему пока ничего не говорила...

– Позвоню...

– Она рядом?

– Кто?

– Она!! Не делай из меня дуру!

– Нет.

– Врешь! Я знаю, где ты, и сейчас приеду! – Сказав это, жена бросила трубку.

Инна уже давно поняла, с кем беседует Калязин, и наблюдала за ним с пристальным неудовольствием. А когда он закончил разговор, быстро, по-военному оделась и спросила холодно:

– А чего ты, собственно, испугался?

– Почему ты так решила?

– Не разочаровывай меня, Саша! Прощу тебя!

В тот вечер она уехала, даже не выпив ставшего традиционным чая. Едва закрылась дверь, Калязин вскочил и начал стремительно уничтожать и прятать свидетельства Инниного пребывания в квартире. Потом оделся, даже повязал галстук и ждал, барабанив пальцами по столу. Внезапно он похолодел, метнулся к разложенному дивану и спрятал одну из двух подушек в шифоньер, а на оставшейся отыскал длинный черный волос любовницы и выпустил его в форточку.

Но Татьяна не приехала. Она позвонила. Калязин сорвал трубку, надеясь, что это добравшаяся до дому Инна, и снова услышал голос жены:

– Это я.

– А разве ты?..

– Здорово я тебя напугала?! Значит, так, – продиктовала она. – Машину отдашь Диме. Через неделю. Пусть лучше он жену возит, чем ты... эту свою... Когда будешь подавать на развод, предупреди: я найму адвоката. Квартиру разменивать не собираюсь. Понял? Спи спокойно, дорогой товарищ!

А Инна в тот вечер так и не позвонила.

Целую неделю все попытки дождаться, когда она останется в приемной одна, и поговорить наталкивались на ледяное дружелюбие. Она слушала объяснительный шепот и только растягивала тщательно накрашенные губы в ничего не значащую секретарскую улыбку. А ведь

его тело еще помнило влажные прикосновения этих на все способных губ! От ненависти к себе хотелось закрыться в кабинете и разорвать в клочья верстку романа «Слепой снайпер». После работы тщетно ждал он ее в своей «девятке» – через квартал, в заветном дворике. Она проходила мимо него к метро в компании бдительных корректорш. Вечером он звонил ей домой, но шестилетняя сестренка, видимо, выполняя порученное ей важное дело, старательно отвечала: «А Инки нету дома...» И хихикала.

В понедельник Инна занесла ему в кабинет иллюстрации к «Озорным рассказам». Калязин схватил ее за руку, и она вдруг погладила его по голове:

- Эх ты! Как мальчишка... Измучился?
- Измучился...
- Ты меня больше не будешь разочаровывать?
- Нет!
- Смотри, Саша! Мужчина, приняв решение, не должен бояться сделанного!
- Ты выйдешь за меня замуж?
- Сначала тебе надо развестись. У тебя есть адвокат?
- Зачем?
- Не будь ребенком!
- Нет, адвоката у меня нет.
- Я знаю одного, грамотного и недорогого.
- Я понял.
- У меня для тебя хорошая новость.
- Какая?
- Мама вернулась.

С этого дня они засыпали и просыпались вместе. Впереди была целая неделя (до возвращения журналиста) – и вся жизнь.

2

По внутреннему телефону позвонила Инна и строго объявила:

– Александр Михайлович, Лев Иванович просит вас зайти!

Она внимательно, даже слишком внимательно, следила за тем, чтобы при упоминании имени директора выглядеть совершенно невозмутимой, но именно поэтому всякий раз, когда заходила речь о Гляделкине, в ней появлялась еле уловимая, но внятная Саше напряженность.

– Спасибо, Инна Феликсовна, сейчас зайду! – ответил он весело, но настроение сразу испортилось.

О том, что у Гляделкина с секретаршей что-то было, знал в издательстве самый распоследний курьер. Окончание их романа Калязин успел застать, когда пришел на собеседование. Впрочем, собеседование – громко сказано.

Со своим однокурсником Левкой Гляделкиным Саша встретился совершенно случайно – на книжной ярмарке. Калязин стоял у стенда и устало расхваливал немногим любопытствующим уникальный иллюстрированный том – «Энциклопедию знаменитых хулиганов». Это был лично им придуманный проект. Начиналась книга с биографии бузотера-ирландца Хулихана, давшего имя всему этому подвиду нарушителей общественного покоя. А дальше шли Жириновский, Калигула, Маяковский, маркиз де Сад – вплоть до Хрущева, колотившего башмаком по трибуне ООН и, как показало время, правильно делавшего. Но вопреки всем бизнес-планам и маркетингам энциклопедия плохо расходилась и назревал конфликт с издателем. Ему Саша наобещал чуть ли не миллионные тиражи, объясняя, что каждый человек в душе хулиган и обязательно захочет иметь этот уникальный том у себя дома.

Итак, Калязин уныло стоял у стенда и мысленно готовил оправдательную речь, когда мимо деловито, во главе небольшой свиты прошагал по узкому ярмарочному проходу Левка Гляделкин – собственной персоной. Он был в отличном костюме из тонкого переливчатого материала, который если даже и мнется, то непременно какими-то особенными, стильными и дорогостоящими складками. Надо сказать, Левка всегда был стилигой: он единственный на курсе носил кожаный пиджак, купленный у какого-то заезжего монгола, да и авторучки у него всегда водились особенные – «Паркер», например, или «Кросс». А ведь происхождения Левка был самого обыкновенного и даже провинциального, но в то время пока Калязин, изнемогая, учился ради повышенной стипендии, Гляделкин зарабатывал. Сначала толкал лицензионные якобы пластинки, наклепанные, кажется, в Сухуми. Потом грянул знаменитый скандал, когда Левка насамиздтил книжку Высоцкого «Нерв», безумно дефицитную в ту пору и стоившую, между прочим, с рук пятьдесят рублей – большие деньги! На Гляделкина даже дело завели, но он убедил следователей, будто напечатал всего шесть штук для себя и друзей. По закону, если семь экземпляров – уже статья... Но какие там шесть штук! Саша собственными глазами видел Левкину комнату в студенческом общежитии, заваленную пачками «Нерва». Поговаривали, Гляделкин просто втихую отдал весь тираж следователям, а они распространили среди своих коллег, которые, как и все советские люди, тоже тащились от Владимира Семеновича:

Потому что движение направо
Начинается с левой ноги...

Нет, это, кажется, Галич...

У Левки оборотистость и предприимчивость были, очевидно, наследственные. Однажды после занятий они пили пиво в Парке культуры, и Гляделкин рассказал историю своего отца... Кстати, в пивные Левка умел проходить, минуя длиннющие многочасовые очереди, так как

знал фамилии руководителей всех столичных баров, мало того – умудрялся отслеживать по каким-то своим каналам кадровые перестановки, чтобы не попасть впросак. Сделав морду, как говорится, кирпичом, он деловито пробирался в самое начало очереди, уткнувшись в роковую табличку «Мест нет», и властно стучал в дверь. Через некоторое время высовывался швейцар, обычно из отставных военных. Лица этих стражей «ячменного колоса» всегда выражали одно и то же легко угадываемое чувство: «Будь при мне табельное оружие – пострелял бы вас всех к чертовой матери!»

– К Игорю Аркадьевичу... – тихо и значительно сообщал Гляделкин.

– Какому еще Игорю Аркадьевичу? – закипал швейцар, привыкший ко всяким уловкам жаждущих.

– Не задавайте глупых вопросов! – с усталой угрозой говорил Левка. – Товарищи со мной...

– Ладно, проходите, – внезапно сдавался охранник и, поворотившись к завозмущавшейся очереди, объяснял: – Заказано у людей, заказано!

Тут вся хитрость заключалась именно в этой особой устало-грозной интонации, которая бывает только у настоящих начальников и которой студент Гляделкин владел в совершенстве. А вот Калязин так и не смог освоить ее, даже когда в течение полутора лет исполнял обязанности заведующего редакцией стран социализма.

Так вот, однажды за пивом Гляделкин рассказал про своего батю, фронтовика, прошедшего всю войну и привезшего из Берлина чемоданчик со швейными иглками. Да, с иглками! Недогадливые товарищи по оружию везли из поверженной Германии патефоны, штуки бархата, канделябры, обувь, кто с образованием – картины или старинные книги, а Гляделкин-старший припер обычный чемоданчик, где в вощенной бумаге бесчисленными рядами лежали сто тысяч иголок к швейным машинкам «Зингер», обшивавшим в ту пору послевоенную замученную страну. Одна иглолка стоила всего рубль, но было их в чемоданчике сто тысяч. Как только в семье кончались деньги, отец шел на рынок и продавал сотню иголок. Так, на иглолках, пятерых детей поднял, да и жену как барыню одевал-обувал. Надежный этот бизнес был подорван, когда наладили производство отечественных машинок, отличавшихся по конструкции от зингеровских.

– До сих пор иголок тыщ пять осталось! – радостно сообщил Гляделкин.

После института их пути разошлись: краснодипломника Калязина распределили роскошно – в «Прогресс», в редакцию стран социализма, а Гляделкина, как неблагонадежного, запихнули в «Промагростройкнигу», выпускавшую какие-то сборники по технике безопасности. Однако Левка и там что-то придумал – начал штамповать руководства по возведению садовых домиков – тогда всем выделяли участки, – и брошюрка шла нарасхват. Когда началась буза в конце восьмидесятых, Левку на собрании трудового коллектива единогласно избрали директором издательства, а вскоре он его приватизировал, выкупив акции у своих же сотрудников, которые по совковой наивности были и рады расстаться с этими, как казалось тогда, совершенно никчемными бумажками. «Промагростройкнига» превратилась в Издательский дом «Маскарон» и завалила прилавки детективными романами, а Левка, по слухам, став богатым, купил себе большую квартиру в центре и загородный дом в Звенигороде...

Вот этого самого Левку Гляделкина, только раздобревшего, полысевшего, обзаведшегося очками в стильной золотой оправе, и окликнул Саша, неожиданно для себя воспользовавшись его давней студенческой кличкой. Кстати, это прозвище Левка получил за манеру останавливаться на улице и со вздохом провожать страждущим взором призывно удалявшиеся дамские ягодицы. Иногда, не выдержав и бросив товарищей, Гляделкин кидался в погоню за незнакомкой, а наутро, приползая к третьей паре, демонстрировал друзьям счастливую усталость и рассказывал о незабываемой ночи, каковую пробезумствовал в постели изголодавшейся раз-

веденки или в кровати девственницы, тщетно пытавшейся уберечь от Левки лепесток целомудрия. Чаще всего врал, конечно...

– Глядун! – крикнул Саша.

Левка остановился, удивленно осмотрелся и захохотал:

– Коляскин!

Помнил, оказывается, не забыл!

Они обнялись. От Гляделкина пахло вкусной жизнью. Свита замерла поодаль, наблюдая за встречами друзей с тем вымученным умилением, с каким обычно созерцают личную жизнь начальника – его избалованных до омерзения детей или любимую собачку – злобную визгливую тварь.

Они поговорили о том о сем, но в основном о бывших однокурсниках: кто-то преуспевал, кто-то эмигрировал, кто-то просто исчез из поля зрения, а вот Витька Корнелюк умер...

– Да ты что? – обомлел Левка.

– Да, умер... – подтвердил Саша с чувством того печального превосходства, которое обычно испытываешь, сообщая кому-нибудь неосведомленному о чьей-то кончине.

– От чего?

– От сердца.

– Не бережемся, не бережемся! – вздохнул Левка и погладил свой обширный живот.

Потом Гляделкин с интересом полистал «Энциклопедию знаменитых хулиганов» и вдруг предложил:

– Слушай, Коляскин, а иди-ка ты ко мне главным редактором! Я своего выгнал. Хороший мужик, но пил, как ихтиозавр! Забегай после выставки. Обговорим наш расклад и твой оклад...

Гляделкин достал из кармана плоскую золотую коробочку, вынул оттуда карточку и протянул Саше.

– А у меня нет визитки, – смущаясь, сознался Калязин. – Кончились...

– Все когда-нибудь кончается! – Левка хлопнул однокашника по плечу и, возглавив затомившуюся свиту, убыл.

Оставшись один, Калязин изучил глянцевую, явно недешевую визитную карточку.

На ней была золотом оттиснута скорбная маска – такими в начале прошлого века украшали фасады домов, а сбоку шла тоже стилизованная под модерн надпись: «Издательский дом “Маскарон”».

Через неделю он позвонил Гляделкину, в душе побаиваясь, что предложение было сделано в приливе ностальгического великодушия и давно уже забыто, а место занято. Но Левка обрадовался его звонку:

– Куда пропал? Приезжай прямо сейчас!

Калязин примчался и долго ждал, пока Гляделкин наконец его примет. От скуки он наблюдал за тем, как виртуозно врет по телефону красивая черноволосая секретарша в строгом офисном костюме. Рядом с ним сидел здоровенный стриженный парень в кожаной куртке. Лицо его было совершенно неподвижно, словно на нос ему села муха и он мужественно воздерживается от малейшего мимического шевеления, дабы не спугнуть насекомое.

Одним звонившим секретарша холодно, почти сурово отвечала, что Льва Ивановича нет на месте и сегодня уже не будет. Вторым дружелюбно советовала перезвонить попозже. Третьим участливо обещала поискать шефа в соседнем кабинете, клала трубку на стол и с печальным вызовом смотрела на улыбавшегося ее секретарским хитростям Сашу. На неподвижного парня девушка внимания не обращала. Минуты через две она брала трубку и с искренним огорчением докладывала:

– На этаже его нет. Наверное, спустился в производство. Как только вернется, сразу скажу, что вы звонили...

А в те редкие минуты, когда телефон молчал, она сидела тихая, погруженная в какое-то свое девичье горе.

– Почему вы такая грустная, Инна Феликсовна? – спросил Калязин, уже успев выяснить, как ее зовут.

– А вот это... – она скосила глаза на бумажку, где было записано его имя, – Александр Михайлович, совершенно не ваше дело!

Скорее всего, Инна сочла его очередным докучливым автором, принесшим в издательство рукопись. Парень в куртке вдруг сочувственно подмигнул Калязину и снова заиндевел.

«Строгая девица!» – подумал Саша и погрузился в размышления о том, что завоевать строгую, неприступную женщину, добиться от нее нежной привязанности – это особенно трудно и почетно, что-то наподобие сексуального альпинизма, хотя, впрочем, кто-то из знакомых скалолазов рассказывал ему, будто спускаться с покоренной вершины не в пример труднее, а главное – утомительнее, нежели взбираться на нее.

И тут как раз на пороге кабинета появился смеющийся Гляделкин. Он провожал какого-то, судя по золотой цепи на шее, крутого инвестора, долго жал ему руку и передавал бесчисленные семейные приветы. Парень в куртке мгновенно напряжился, вскочил и стал внимательно озирать приемную, точно в отделанных искусственным дубом стенах могли внезапно открыться потаенные бойницы. Наконец крутой вырвался из Левкиного расположения и ушел вместе со своим огромным телохранителем.

Гляделкин удовлетворенно похлопал себя по животу, но, встретившись глазами с напряженной секретаршей, сразу посерьезнел, кашлянул и распорядился:

– Александр Михайлович, заходите! Инна Феликсовна, ни с кем не соединять!

– Даже с Маргаритой Николаевной? – поинтересовалась она с недоброй иронией.

– Маргарита Николаевна может позвонить мне на мобильный. Вы отлично это знаете! – строго ответил Левка, глядя мимо Инны.

«Э-э, да у них тут непросто!» – завистливо подумал Калязин, заходя в кабинет, обставленный дорого и со вкусом.

На стене висела большая фотография: на ней Гляделкин вручал книгу самому президенту. В углу в специальной стеклянной витрине стоял манекен, одетый в золотопуговичный мундирчик.

– Лицейский мундир Дельвига, – похвастался Гляделкин. – Купил по случаю. Жалко, треуголка потерялась...

Они выпили отличного коньяка, название которого Левка произнес с гордостью, а Калязин, естественно, не запомнил, поговорили о жизни, о семейных делах. У Гляделкина была уже вторая жена – Маргарита и трое детей. Он показал фотографию в полированной деревянной рамочке. Жена оказалась дородной крашеной блондинкой с усталыми глазами домохозяйки. Детей она обнимала, точно насадка, прикрывающая крыльями цыплят. Сам же Левка на снимке стоял чуть отстранившись, как сделавший свое дело кочет.

Потом он расспрашивал Сашу про Татьяну, даже как-то сочувственно завидуя многолетнему семейному постоянству однокашника:

– Наши-то все уже по сто раз женились-разводились...

Он попросил показать снимок жены и сына и очень удивился, узнав, что таких фотографий Саша с собой не носит. Наконец, посерьезнев и перейдя на руководящий тон, Левка очертил Калязину круг его будущих обязанностей и назвал оклад жалованья такой большой, что Саша аж вспотел от неожиданности. Ударили по рукам, и уже на пороге Гляделкин остановил своего нового подчиненного неожиданным вопросом:

– Понравилась?

– Кто?

– Секретарша.

– Красивая...

– Не просто красивая – увлекательная! – вздохнул он. – Но будь осторожен. Она – девушка с целью...

Согретый коньяком и будущим окладом, Калязин вышел из кабинета, уже чувствуя себя главным редактором.

– Так почему же вы все-таки грустная? – с хмельной настойчивостью спросил он Инну, прикладывая печать к его разовому пропуску.

– Я же сказала: вас это не касается.

– Главного редактора, – ответил он с совершенно нехарактерной для него хвастливостью, – касается все. В том числе и настроение сотрудников.

– Так вы наш новый главный редактор?

– Аз есмь! – ответил он и смутился от собственного мальчишества.

– Буду знать, – отозвалась она, подозрительно глянув на нетрезвого главреда, пришедшего на смену прежнему – алкоголику.

– У вас неприятности? – снова спросил он – теперь уже тоном волшебника, специализирующегося на устранении невзгод и неурядиц.

– Может быть, когда-нибудь расскажу... – ответила Инна и посмотрела на него с мимолетным интересом.

О том, что у Инны Журбенко с Гляделкиным не просто что-то было, а был серьезный роман, в результате которого шеф чуть не развелся с женой, но в последний миг одумался, Калязину нашептали на первом же редакционном винопитии по случаю Восьмого марта. То ли это была фирменная издательская история, которой потчевали каждого новичка, то ли Саша, несмотря на все усилия, не сумел скрыть от окружающих своего интереса, нараставшего, подобно медленной, но неотвратимой болезни.

После очередного тоста «за дам-с» он вышел покурить на лестничную площадку с корректоршами – пожилой, подслеповатой Серафимой Матвеевной и относительно молодой еще Валец, окрашенной так вызывающе ярко, что на ее лицо следовало бы смотреть с большого расстояния и сквозь сложенную трубкой ладонь, как на картину художника-пуантилиста. И вдруг они возбужденно, перебивая друг друга, точно давно ждали подходящего момента, стали рассказывать ему про директорскую секретаршу.

Инна пришла в издательство сразу после школы на место своей матери, которая проработала здесь корректором пятнадцать лет, а потом во втором браке родила и сделалась домохозяйкой, благо новый муж неплохо зарабатывал установкой спутниковых антенн на многочисленных подмосковных особняках.

– Ах, какая была девочка! – восхищалась Серафима Матвеевна. – Как струнка! Прямо Ассоль! Строчим сверку, а она вдруг в окно уставится и все забудет... «Инн, – спрашиваю, – о принце, что ли, мечтаешь?» – «Да ну вас...» – смеется...

– Совсем простенькая была. Я ее краситься учила! – добавила Валя, заманчиво поглядывая на Сашу.

Вскоре появился и принц – выпускник института военных переводчиков.

– Видный парень и с характером, – сообщила Серафима Матвеевна. – Часто заходил к нам, ждал, когда закончим. Мы – Инке: «Да иди ты! Без тебя, сопливой, дочитаем!» А она: «Ну как же, нельзя... Володя подождет...»

– А однажды, – захохотала, вспомнив что-то веселое, Валя, – сидит он, ждет и на меня смотрит. Внима-ательно! Я не пойму... А потом сообразила, что давала Инке свою блузку – мне из Франции любовник привез – на свидание надеть. Вовка и узнал... Не понравилось! Он парень-то с гонорком...

– Это – да, – согласилась Серафима Матвеевна. – Два любимых выражения у него были: «Я полагаю...» и «Я принял решение...». Непростой парень. Но – хорош! А уж как форма ему шла! Прямо Лановой!

– А Лановой ко мне в Пицунде приставал! – доложила Валя.

– Послушать, так к тебе все, кроме академика Сахарова, приставали! – одернула ее Серафима Матвеевна.

Из дальнейших рассказов стало понятно, что вопрос о замужестве был решен: как говорится, шили платье. Инна с мужем после свадьбы собиралась ехать куда-то за границу и уже немного свысока поглядывала на сослуживиц, намекая на то, что военные переводчики за границей занимаются не только переводами, а и другими, гораздо более ответственными и необходимыми Державе делами. И ей, как жене человека, выполняющего специальные задания, тоже, конечно, придется соучаствовать.

– А мы ее подначивали по-простому: «Радисткой, что ли, будешь?» Обижалась: «Вы плохо себе представляете деятельность современных спецслужб!» – добродушно передразнивала ту давнюю, наивную Инну Серафима Матвеевна.

– А я... А я спрашиваю на голубом глазу: «Ин, а спецсексу учить тебя будут? – радостно вспоминала Валя. – Могу проконсультировать!»

– В общем, счастлива была до потери сознания! – грустно вздохнула Серафима Матвеевна. – Бедная девочка...

Свадьба не состоялась: в последний момент военный переводчик принял решение и мгновенно женился на дочке какого-то снабженческого генерала. Инна страшно переживала, попала даже в больницу и вернулась оттуда совсем другой – как робот. Тут-то Гляделкин, давно присматривавшийся к красивой корректорше, и взял ее... секретаршей.

– Так сразу и взял? – сглотнув комок, спросил Калязин, до этого только слушавший.

– Сразу и взял, – кивнула Валя.

– Не сразу... Ты с собой-то не путай! Долго он ее обхаживал, – пояснила Серафима Матвеевна. – Подарки таскал, слова говорил... Умеет, подлец! Ну, вы, Александр Михайлович, лучше нашего знаете! Однажды в темных очках на работу пришел. В чем дело? Ячмень? Или хуже – синяк под глазом? «Нет, – объяснил. – Не могу на вас, Инна Феликсовна, смотреть! Ослепляете...» Ну, у девки снова крыша и поехала. У Гляделкина, правда, тоже набекренилась... Потом, конечно, спохватился. Маргарита у него свое дело туго знает. «Детей, – сказала, – не увидишь!» Ну он и опал...

– А что это, Александр Михайлович, вы так Инночкой интересуетесь? Влюбились? – захихикала Валя.

– Да нет, я так просто...

– Да ладно – просто! Влюбите лучше в меня! Безопасность и семейную целостность гарантирую...

– Уже влюбился, – отшутился Калязин и дал маху.

В тот вечер Валя упростила Сашу, почти не пившего, подбросить ее домой в Химки и всю дорогу, пьяно хохоча, норовила управиться с главным редактором таким же образом, каким он сам, ведя машину, управлялся с рычагом переключения скоростей. Наконец Саша разозлился, остановил машину и накричал на распускающую руки корректоршу.

– Да ну вас, мужиков! – сказала она, сразу протрезвев и погрузнев. – Сами не знаете, чего хотите, а потом... Ладно, поехали! Больше не буду.

После того как Калязин узнал Иннину историю, его влечение к ней стало другим. Нет, конечно, по-прежнему это было прежде всего вожделение, но облагороженное состраданием.

Как-то вечером в опустевшем издательстве Калязин готовил окончательный темплан на второе полугодие. Точнее, Инна вносила поправки в файл, а он, склонясь над ней, взгляды-

вался в экран компьютера, выискивая опечатки, и совершенно неожиданно для себя поцеловал девушку в долгую, смуглую, покрытую нежным пушком шею.

– Вы с ума сошли! – вспыхнула она.

– Сошел. А вы только что это заметили?

И он стал тайно ухаживать за ней: если удавалось, подвозил домой. Несколько раз уговорил по пути остановиться и посидеть в каком-нибудь ресторанчике, благо Татьяна не знала о том, что, кроме зарплаты, у него есть еще и ежеквартальные премии. Инна принимала его приглашения с чуть насмешливой благосклонностью, с какой принимают услуги чересчур уж любезного официанта. Однажды Саша повел ее в новомодный кинотеатр, где звук как бы дробится, обступая тебя со всех сторон, а экран завораживает глаз такой насыщенной чистотой цветов, за какую Ван Гог, не задумываясь, отдал бы и второе свое ухо. Калязин давно не бывал в кинотеатрах, и его странно поразило, что все эти чудеса техники, эти безумно дорогие и в самом деле талантливые актеры, эти поминутно взлетающие на воздух «мерседесы» и целые городские кварталы, эта виртуозно выстроенная сюжетная головоломка – нужны, в сущности, лишь затем, чтобы рассказать полупустому залу какую-то бесполезную и совершенно бессмысленную историю. Что-то наподобие катания на американских горках – промчался с визгом, с холодком в паху – и забыл.

Но там, в кинозале, в темноте Инна впервые доверила ему свою теплую руку. Этим бы Калязину ограничиться для начала, но он не удержался и в тот момент, когда герои фильма, проникнув наконец-то в банк, обнаженно-прекрасные, любили друг друга прямо на рассыпавшихся долларах, Саша обнял ее и поцеловал в губы. Инна не сопротивлялась, но в поцелуе было что-то странное. Что именно, Саша понял, когда оторвался. Он целовал усмешку.

– Александр Михайлович, вы напрасно тратите время! – предупредила Инна. – Полагаю, вы многое про меня узнали и должны понимать: ничего не будет. Вы ничего не добьетесь.

– А я ничего и не добиваюсь! – отводя взгляд, ответил Калязин. – Я просто хочу видеть вас...

– Вы меня видите каждый день на работе, – словно не понимая, о чем речь, сказала она.

– Мне этого мало!

– Ах вот оно как! Если хотите большего, займитесь Вале. Вы ей, кажется, нравитесь...

– Ну зачем вы так! – Он попытался снова ее обнять.

– Александр Михайлович, я вас прошу. – Она резко, с неудовольствием высвободилась.

– Зовите меня – Саша...

– Ну какой вы Саша! Вы – Александр Михайлович. И навсегда останетесь для меня Александром Михайловичем.

От этого «навсегда» все калязинское существо наполнилось плаксивой оторопью и подростковой обидой. Нечто подобное он испытал в отрочестве, когда увидал, как безумно нравившаяся ему девочка целуется в пустой учительской со старшеклассником. Обливаясь слезами, Саша убежал в раздевалку. Был май – и на крючках висели только черные сатиновые мешочки со сменной обувью. Сотни мешочков. Сначала он бродил между этими мешочками, как в каком-то марсианском лесу, а потом стал бить по ним, точно по боксерским грушам, и бил до изнеможения, пока в кровь не содрал костяшки пальцев. И победил себя...

Месяц он держался с Инной так, словно ничего меж ними и не было. Старался как можно реже появляться в приемной, а вызванный к Гяделкину, проходил мимо с бодрой, заранее подготовленной улыбкой, и даже, словно ныряльщик, задерживал дыхание, чтобы пропитанный ее духами воздух приемной не проник в легкие, не одурманил и не заставил броситься перед ней на колени на глазах у всех. Она тоже вела себя с ним ровно, приветливо, ни единым намеком не напоминая о его постыдно неуспешном домогательстве.

Клин вышибают клином – и Калязин сам предложил Вале подбросить ее домой, в Химки. Она, помня его прежнюю суровость, сидела тихая, скромная и ко всему готовая, точно в оче-

реди к гинекологу. Сначала он долго не решался, а потом где-то в районе Северного речного вокзала положил руку не на отполированный набалдашник рычага скоростей, а на круглое колено. В ответ корректорша часто и многообещающе задышала. Калязин осторожно погладил ее голую ногу и почувствовал под рукой старательно выбритые, но уже чуть покалывающие волоски – и это страшно его возбудило. Они остановились на каком-то строительном пустыре возле огромного бульдозера, напоминающего в темноте подбитый танк. Валя приблизила к нему свое ярко намакияженное лицо (наверное, именно так в ночном музее выглядит какой-нибудь Дега или Матисс), и Саша догадался, что надо целоваться. Никогда еще не приходилось ему получать такого бурного разнообразия сексуальных даров в такой короткий отрезок времени и в такой тесноте. Когда, чуть не выбив каблуком лобовое стекло, Валя затихла, Калязин понял, что совершил страшную ошибку. Она, кажется, тоже. Отдышавшись, перекарабкавшись на свое место и поправив одежду, корректорша сказала:

– Зря мы это... Не бойся, я ей не скажу. Но и ты тоже – никому. Договорились?

Любопытно, что никакого раскаяния перед Татьяной он не испытывал – вернулся домой злой и даже ни с того ни с сего наорал на жену за то, что она, мол, все время занимает телефон своими дурацкими риелторскими переговорами, а ему из-за этого не могут дозвониться очень серьезные люди. Татьяна вспыхнула, отправила его к чертовой матери, а потом долго извинялась перед Степаном Андреевичем, принявшим это на свой счет. Саша, сурово сопя, проследовал в ванную, глянул в зеркало и ахнул: белая сорочка напоминала тряпку, о которую живописцы вытирают кисти. Спасла его Татьяна близорукость. Он спрятал рубашку в портфель и наутро по пути на работу выбросил в мусорный контейнер.

Зато ему было мучительно стыдно перед Инной. Весь следующий день он даже боялся смотреть на нее. Проходя через приемную к начальству и поймав на себе, как ему померещилось, подозревающий взгляд, он облился потом, и ему даже показалось, будто все вчерашние горячие Валины щедроты теперь стекают с его тела подобно отвратительной слизи, оставляя на паркете следы. Но Инна смотрела на него все с тем же приветливым равнодушием.

И так продолжалось долго, очень долго...

Все изменилось в одночасье. Нужно было срочно отредактировать рекламу мемуаров недавно скончавшейся старушки, служившей в тридцатые годы уборщицей в высших сферах и оказывавшей, как она утверждала, интимные услуги чуть ли не всему тогдашнему Политбюро. Книжка называлась чрезвычайно ликвидно – «Кремлевский разврат», но отдел рекламы, как всегда, написал такую белиберду, что Гляделкин разнервничался и приказал главному редактору лично переписать аннотацию и подобрать забойные отрывки для периодики.

Покидая кабинет, Гляделкин вдруг обнаружил, что во всем издательстве остаются только два человека – Инна и Калязин. Он как-то сразу забеспокоился, потом совладал с собой и погрозил:

– Вы, ребята, тут не озорничайте!

Захохотал и ушел.

Инна посмотрела ему вслед с ненавистью и начала собираться.

– Инна Феликсовна, – пробормотал Саша, – если подождете полчаса, я отвезу вас...

– Спасибо, не надо.

– Почему?

– Я не хочу домой.

– В кино? – жалобным детским голоском спросил Калязин.

– Почему тогда не в театр? – Она посмотрела на него с насмешливым состраданием.

– Инна, я так больше не могу! – промямлил Калязин.

– Допустим, – после долгого молчания вымолвила она. – И куда вы меня повезете?

– В каком смысле? – Он даже растерялся от неожиданности.

– Александр Михайлович, вы меня удивляете! Но учтите, в гостиницу я не поеду...

Сообразив наконец, что происходит, он занервничал, засуетился, метнулся в свой кабинет, к телефону, дрожащими руками раскрыл записную книжку и, мысленно умоляя Господа о неподобающей помощи, на что способен только закоренелый атеист, стал набирать номера друзей.

Никто не подходит.

Занято!

«А, старик, привет! Лежу вот дома – ногу сломал...»

Опять занято!!

Спас журналист, с которым Калязин много лет назад, еще при советской власти, познакомился во время турпоездки в Румынию. Потом они несколько раз пересекались на презентациях и пресс-конференциях, обнимались, договаривались «собраться и посидеть», но от слов к делу так и не перешли. За эти годы Саша сменил уже штук пять истрепавшихся книжек, но телефон журналиста каждый раз старательно переписывал – словно чувствовал...

Тот сначала даже не сообразил, кто звонит, потом понял и долго выслушивал сбивчивую, витиеватую мольбу, смысл которой сводился к тому, что если он на два часа предоставит Саше свою квартиру, то Калязин в благодарность готов отдаться чуть ли не в пожизненное рабство.

– Так приспичило? – удивился квартирохозяин. Ему, как холостяку с собственной жилплощадью, была непонятна и смешна эта истерическая горячка женатого мужчины, схватившего за хвост долгожданную птицу супружеской измены. – Ладно, – согласился он великодушно. – Такса – коньяк. Хороший. Сэкономись – больше не звони. Ключ будет за дверцей электрошита. Записывай адрес! Да... Забыл... Еще одно условие!

– Какое?

– Черномырдина за хвост не дергать!

– Кого?

– Кота.

Калязин вбежал в приемную, зажимая в потной руке бумажку с благословенным адресом, и радостно крикнул:

– Вот... Я договорился!

– Хорошо, – спокойно ответила Инна. – Сейчас отправлю факс – и поедем.

* * *

Дверь долго не открывалась. Отчаявшись и вспотев, Саша сообразил наконец, что ключ надо вставить до упора. В прихожей их встретил черный кот, судя по размерам, кастрированный. Инна тут же взяла это покорное существо на руки и стала гладить, долго, с удовольствием. В какой-то момент Калязину показалось, будто вся Иннина ласка достанется сегодня исключительно Черномырдину. Но он ошибся – ему тоже перепало...

Исстрадавшийся Саша был бурно-лаконичен. Инна сдержанно-отзывчива. Почти сразу она встала с дивана, с удовлетворением оглядела себя в зеркале и начала медленно, собирая разбросанные по комнате вещи, одеваться, а он, лежа, со священным ужасом следил за тем, как постепенно скрывается под одеждой только что принадлежавшая ему нагота. Застегнув блузку, Инна поправила перед зеркалом волосы и спокойно сказала:

– На этом, полагаю, мы и закончим наш служебный роман.

– Почему?

– Вы сделали то, что хотели. И я сделала то, что хотела...

– Я люблю вас... – вдруг бухнул Калязин, еще минуту назад не собиравшийся говорить этих слов ни сейчас, ни в обозримом будущем.

– Ах вот оно как? – удивленно улыбнулась Инна. – Ты понимаешь, что ты сейчас сказал?

– Понимаю.

Она пожала плечами и медленно начала расстегивать блузку...

После той, первой близости острое любовное помешательство перешло у Саши в неизлечимую хронику. Вся его жизнь превратилась в одно знобящее ожидание этих свиданий на квартире журналиста, который теперь при желании мог открыть небольшой коньячный магазинчик.

Калязин отвозил Инну в Сокольники и, едва развернувшись, чтобы ехать на Тишинку, начинал жить мечтами о новой встрече.

На следующий день Гляделкин с утра вызвал к себе Сашу и строго спросил:

– Ну, получилось?

– Что? – зарделся Калязин.

– Что... что... Аннотация к мемуарам этой старой профуры! – буркнул однокурсник и поглядел на него с обидой.

Наверное, Левка сразу обо всем догадался и, зная Инну, ревниво, в деталях представлял себе, как это у них происходит.

А происходило нечто невообразимое, испепеляющее калязинские чресла и душу. Нет, в их объятиях не было ничего неизведанного. Незведанной была запредельная, порабощающая нежность, которую он испытывал к возлюбленной. Порой Саша с усмешкой вспоминал убогие сексуальные исповеди, сочиненные когда-то для «Нюши», и поражался. Оказывается, он не знал об этом ничего! Или почти ничего... Если оставалось немного времени до возвращения журналиста, они расслабленно лежали, курили и обсуждали издательские сплетни и интриги. В этих разговорах Гляделкин никогда не назывался ни по имени, ни по фамилии, просто – «Он». Инна рассказывала Саше о себе, о матери, о сестренке, о том, как в десятом классе в нее влюбился молодой учитель физики, а однажды очень подробно изложила и всю историю своих отношений с военным переводчиком. Спокойно, даже с иронией, она сообщила, что в больницу попала, потому что хотела покончить с собой.

– Знаешь, мама меня на подоконнике поймала...

– Разве можно из-за этого?... – удивился Саша.

– А из-за чего же еще? – удивилась она.

Кстати, военный переводчик впутался потом в какие-то нехорошие махинации с военным имуществом за границей, вылетел из армии, развелся, страшно запил и даже приползал к ней на коленях – умолял простить.

– Знаешь, что я ему сказала?

– Что?

– Я его спросила: «Вова, что полагается в армии за предательство?» Он ответил: «Высшая мера». А я – ему: «В любви тоже...»

– И что стало с этим Вовой? – спросил Калязин.

– Зашился и снова женился на чьей-то дочке, – равнодушно сообщила она. – Что ты еще хочешь знать обо мне – спрашивай!

– Нет, все понятно...

– Неужели тебе совсем не интересно, что у меня было с Ним?

– У всех что-то было... – отозвался он с трудно давшимся равнодушием. – Было и прошло...

– И тебя даже не волнует, любила ли я его? Спрашивай – я отвечу!

– Нет, это не важно. Теперь. Мне гораздо важнее знать, любишь ли ты меня?

– Не торопись! Я боюсь этих слов. Мне они приносят несчастье...

На самом деле ему было болезненно важно знать, что у них было, как у них это все происходило, какие слова она ему при этом говорила и главное – любила ли... Но услышать «любила» – значило навсегда получить в сердце отравленную занозу. А услышать «не

любила» – еще хуже: гадай потом, солгала она тебе, пожалев, или была слишком исполнитель- ной секретаршей.

– Скажи мне только: он для тебя хоть что-то еще значит? – осторожно подбирая слова, спросил Калязин.

– Ни-че-го. Полагаю, этого достаточно? – ответила она с вызовом.

– Конечно... Не обижайся!

Нет, ему было недостаточно! Ему очень хотелось спросить, например, вот о чем. Когда Он вызывает ее к себе в кабинет и дает обычные секретарские поручения, что она чувствует, зная, что этот вот человек выведет некогда все ее потайные трепеты и все ее изнемогающие всхлипы? А она сама, записывая в блокнотик задание и холодно поглядывая на Него, неужели никогда исподволь не вспоминает его лежащим в постели и бормочущим в ее разметающиеся волосы какую-то альковную чушь... Но Саша прекрасно знал: спрашивать такое у женщины недопустимо. Скорее всего, просто не ответит. А если и ответит? Куда потом, в какие глухие отстойники души затолкать ее ответ?

Из-за этих мыслей, составлявших неизбежную, а может, даже и необходимую часть обру- шившегося на него счастья, Калязин начинал ненавидеть Гляделкина – его хитрый прищур из- под тонких золотых очков, остатки кудрей на вечно лоснящейся лысине, ненавидеть даже его дружеское расположение. А вот к вероломному военному переводчику, первому, надо наде- яться, Иннинному мужчине, так жестоко с ней поступившему, Саша не испытывал никакой ненависти – даже, скорее, благодарность. Ведь если бы он женился на ней, увез ее за границу... Но об этом даже не хотелось думать.

...Зазвонил телефон. Иннин голос удивленно спросил:

– Александр Михайлович, вы забыли? Он вас ждет!

– Иду...

Калязин встал, взял папочку с договорами и, пройдя мимо глянувшей на него с еле замет- ным осуждением любовницы, зашел в кабинет директора.

Гляделкин по телефону вдохновенно ругался с карельским комбинатом, опять взвинтив- шим цены на бумагу. Увидев Калязина, он кивнул на стул. Саша сел и некоторое время вслу- шивался в разговор, рассматривая появившееся в витрине рядом с мундирчиком обглоданное гусиное перо – якобы пушкинское.

Надо признаться, Гляделкин был мастером телефонных баталий: он то переходил на жесткий, почти оскорбительный тон, то вдруг обращал весь разговор в шутку с помощью умест- ного анекдота или изящного начальственного матерка. Вот и сейчас директор, кажется, уже почти добился того, чтобы эту партию бумаги комбинат все-таки отпустил издательству по старым расценкам. На минуту отвлекшись от разговора, Гляделкин сочувственно подмигнул Калязину.

Саше это сочувствие не понравилось. Левка никогда не показывал ему свою осведомлен- ность, но, как передавали, в кругу особо приближенных, в разговорах с главным бухгалтером и замом по коммерции, например, именовал главного редактора не иначе как «наследник Тутти» и восхищался «Инкиной хваткой». Жалкие люди! Ничтожества! Их деловитые аорты разорва- лись бы, как гнилые водопроводные трубы, доведись им хоть раз испытать то счастье, которое переполняет сейчас Сашу...

– Ну как дела, Саш? – спросил Гляделкин, довольный одержанной над бумажниками победой.

– Нормально. Договора подпишешь?

– Завтра. А вот скажи-ка мне, как ты относишься к семейным катастрофам?

– К чему? – оторопел Калязин и на минуту вообразил, что Татьяна по старой советской методе приходила к Левке и жаловалась на свою беду.

– А знаешь, есть такая передача – «Семейные катастрофы»?

– Ну, знаю... И что?

– Будь другом – выручай! Сегодня запись... Я обещал. А теперь не могу. Из Сибири распространители приехали. Надо в баню вести... Съезди, пофигуряй перед камерами и обязательно покажи им нашу «Энциклопедию семейных тайн»! Бесплатная реклама. По дружбе. Рейтинг у передачи чудовой. Договорились?

– Если надо...

– Конечно надо! Первым делом, сам понимаешь, самолеты... Ну а девушки, как догадываешься, потом... – Сказав это, Левка посмотрел на него не с обычной хитрецой, а с каким-то униженным сочувствием. – Спасибо, друган! Жене привет!

«Еще, гад, издевается!» – зло подумал Саша, встал и исполнительно улыбнулся.

Пока Калязин жил в семье, Гляделкин никогда не передавал Татьяне приветов.

В приемной Саша остановился возле секретарского стола и сказал деловито, чтобы не привлекать внимания возившейся у факса сотрудницы:

– Инна Феликсовна, если меня будут спрашивать, я на телевидении, а оттуда сразу домой... – И, поймав ее насторожившийся взгляд, шепотом разъяснил: – В Измайлово...

И незаметно положил на стол ключ от квартиры.

– Я буду ждать... – беззвучно, одними губами предупредила она. – Я тебя люблю...

В отличие от Саши, постоянно признававшегося ей в любви, сдержанная Инна эти слова говорила ему только дважды. В первый раз – когда он сообщил о своем намерении объясниться с женой. Во второй – совсем недавно, когда он, расвирепев, под утро замучил ее до блаженных рыданий, до счастливого женского беспамятства.

Это был третий раз. Самый главный...

3

Передача «Семейные катастрофы» и в самом деле пользовалась чудовищным успехом. Вел ее странный дурашливый тип, зачем-то наголо обритый. Во времена советского Сашиного детства такая прическа называлась «под Котовского». Кроме того, знаменитый шоумен носил в ухе серьгу, но не маленькую – гейскую, а большую – почти цыганскую. Фамилия ему была Сугробов. В последнее время он сделался популярен до невероятности: на баночках с детским питанием и упаковках памперсов красовались его портреты и надписи: «От Сугробова с любовью!» Даже Татьяна, редко смотревшая телевизор, эту передачу старалась не пропускать.

Калязину раньше никогда не приходилось бывать в Останкинской телестудии. Он с невероятным трудом припарковался, втиснув свою обшарпанную «девятку» между серебристым шестисотым «мерседесом» и огромным бронированным «лендровером», которому для полного сходства с боевой машиной не хватало только пулемета на крыше.

«Вот они где, народные денежки!» – зло подумал Саша, окинув взором бескрайние ряды дорогих автомобилей, и направился к 17-му подъезду. Там было оживленно: вбегали и выбегали какие-то люди с камерами, сновали длинноногие соплюшки с мобильными телефонами, диковатого вида старикан развернул на груди, словно гармонь, лист ватмана с корявой надписью, требовавшей немедленного удаления евреев из русского эфира.

Вооруженный автоматом милиционер отыскал Сашину фамилию в длинном списке, благосклонно кивнул, и Калязин боязливо прошел сквозь контур металлоискателя, который, разумеется, подлю пискнул, среагировав на ключи – от служебного кабинета и от тишинской квартиры. Калязин полез в карман, но охранник снисходительно кивнул: мол, чего уж там – проходи!

Телестудия своими бесконечными коридорами и табунами спешащего во всех направлениях люда напомнила Домодедовский аэропорт. Саша успел заметить две-три эфирные знаменитости и подивиться тому, какие они наяву незаманчивые. Так бывает в магазине: прилбубьешься к какой-нибудь вещичке на витрине, а возьмешь в руки – категорическое не то...

Поплутав, Калязин все-таки нашел на втором этаже четвертую студию и обнаружил возле нее необычайное даже для Останкина скопление народа. Люди толклись в холле и напоминали пассажиров, уже сдавших багаж и теперь в «накопителе» нетерпеливо ожидающих вылета. Саша устроился у большого окна, откуда виднелась серая телебашня с черными следами недавнего пожара. Прислушался к разговорам: толпа шумно обсуждала какого-то мерзавца, укравшего у матери сына и увезшего его в религиозно-трудовую коммуну в Сибирь. Саша подивился такому единодушию разношерстной публики, но недоумение вскоре разъяснилось. К нему робко приблизился коренастый лысый мужичок с большим портфелем, постоял молча рядом, видимо, собираясь с духом, и наконец спросил:

– Вы тоже на «Катастрофы»?

– Угу, – ответил Калязин, не расположенный к беседе.

– Из Москвы? – осторожно поинтересовался незнакомец.

– Угу, – отозвался Саша, надеясь этим невежливым угуканьем отшить привязчивого мужичка.

– А я из Людинова. Знаете? В Калужской губернии...

– Знаю. Людиновское подполье... – кивнул Саша, когда-то редактировавший сборник воспоминаний о героях-партизанах для социалистических стран.

– Господи ты боже мой! – покраснел от радости мужичок. – Вы первый человек в Москве, который знает про Людиново!

И, сделавшись от восторга еще словоохотливее, людиновец вывалил на Сашу целый ворох сведений самого разнообразного свойства. Он сообщил, что раньше, при советской вла-

сти, был начальником автохозяйства и членом бюро райкома, а теперь владеет двумя шиномонтажными мастерскими и живет вполне прилично: построил дом, закупил недавно итальянские вулканизаторы, но бардак в стране его просто убивает. В Москву же он приехал, чтобы показать знающим людям свой трактат о том, что только крепкая семья спасет Россию. А сюда, на передачу, прорвался именно потому, что здесь-то как раз и можно встретиться со знающими и влиятельными людьми, в обычной жизни совершенно недоступными. Сегодня он тут с самого утра. Оказывается, в день они снимают целых четыре передачи, так как аренда студии стоит страшных денег. До обеда записывали: «Моя жена не умеет готовить...» и «Я люблю зятя...».

– Ох, вас не было! – восхищенно докладывал людиновец. – Явилась одна! Про свои шуры-муры с зятком рассказывала! Ох, баба! Я бы и сам такую тещу... А вы сколько дали?

– Чего?

– Денег.

– Зачем?

– Чтобы на передачу пустили. Я – сто долларов!

– Я – ничего...

– Наверное, москвичам бесплатно, – вздохнул людиновец и продолжил рассказ: – После обеда обсуждали одного козла, который сына у жены умыкнул и в Сибирь увез... А сейчас будет – «Я ушел от жены...».

– Как? – обомлел Калязин.

– Как уходят – с вещичками, – разъяснил мужичок.

Но Саша уже не слушал его, а гневно думал о том, что Гляделкин нарочно подстроил ему эту передачу, придумав распространителей из Сибири. Но зачем? Как – зачем? Жаба его душит, что Инна теперь с ним, с Калязиным. Вот и мстит, мерзавец!

Тем временем из толпы ожидающих вынырнула немолодая дама в кожаном брючном костюме с органайзером в руках. Ее лицо показалось Саше знакомым. Она явно кого-то выискивала в толпе. Поколебавшись, дама подошла к Калязину:

– Простите, вы случайно не из издательства «Маскарон»?

– Да.

– Александр Михайлович?.. – Она заглянула в органайзер. – Калязин?

– К вашим услугам.

– Замечательно! А то наш ассистент вас на входе прозевал. Я – Нина Трусковецкая, редактор передачи. – И она протянула ему руку.

– Очень приятно!

Ее пальцы были так густо унизаны кольцами и перстнями, что Калязину показалось, будто он пожал стальную рыцарскую перчатку.

– «Энциклопедию семейных тайн» не забыли?

– Нет. – Саша похлопал по полиэтиленовому пакету.

– Только очень коротко. А то рекламщики меня убьют. Скажут: «джинса»...

– Что?

– Левая реклама. Стойте здесь и никуда не уходите! – приказала Трусковецкая и умчалась, мелко подергивая бедрами.

Саша глянул на людиновца и обнаружил, что тот смотрит на него со священным трепетом:

– Вы из издательства?

– Да.

– Вот повезло! Я понимаю, вас интересуют в основном пищевые продукты. Но в моем трактате есть большой раздел о семейном питании! Сейчас покажу...

– Почему продукты? – удивился Саша.

– Ну как же! Издательство ваше «Макарон» называется?

– «Маскарон».

– А что это?

– Каменная маска на фасаде дома...

– Тем более! – обрадовался людиновец. – У меня тут даже чертеж идеального дома для семьи есть...

Пока он, сопя, извлекал из портфеля трактат, Калязин злорадно подумал о том, что завтра обязательно расскажет про этот «макарон» Гляделкину, чрезвычайно гордившемуся редкостным названием своего издательства.

– Вот! – Мужичок наконец достал из портфеля толстенную красную папку. – Десять лет писал! – гордо доложил он. – С двумя женами из-за этого развелся...

– Видите ли, – начал Калязин, опасливо косясь на рукопись, – мы издаем литературу несколько иного плана...

– Не волнуйтесь! Я заплачу, – пообещал людиновец и полез в боковой карман.

Выручила Трусковецкая – она внезапно выскочила из толпы и подбежала к Саше. Лицо ее было перекошено ужасом:

– Что вы со мной делаете, Александр Михайлович!

– Я?!

– Вы давно уже должны сидеть во втором ряду с экспертами!

Она схватила Сашу за рукав, протасила сквозь толпу и поволокла по лабиринту узких проходов между фанерных перегородок, с которых свисали клочья разноцветной материи. Наконец они оказались в ярко освещенной студии. Посредине высился круглый подиум. На нем стояли три массивных кресла, а рядом – большой розовый куст в керамической кадке. Розы, судя по всему, были искусственные. С одной стороны подиума возвышался сложно изломанный задник с переливающейся огромной надписью «Семейные катастрофы». Причем гигантская буква «А» представляла собой довольно сложную конструкцию. Верхний треугольник являлся отверстием в человеческий рост, а нижняя, трапециевидная часть циклопической буквы образовывала лестницу, по которой, очевидно, спускались к зрителям герои ток-шоу. С противоположной стороны был амфитеатр, составленный из желтых пластмассовых сидений. По сторонам съемочной площадки на специальных возвышениях торчали две камеры, и возле них возились операторы с большими наушниками на головах. Третья камера была укреплена на длинной – метров шесть – ажурной стреле вроде тех, что бывают у передвижных подъемных кранов. Благодаря какой-то хитрой механике два паренька управляли стрелой таким образом, что камера плавно перемещалась по всему подиуму и зрительному залу.

Трусковецкая усадила Сашу во втором ряду между тяжело дышавшим толстяком в массивных очках и крашеной блондинкой, одетой почему-то в генеральскую форму времен Отечественной войны 1812 года.

– Знакомьтесь, наши эксперты! – представила Нина. – Великий магистр белой магии Данилиана Юзбашьянц.

– Великий магистр высшей белой магии! – строго поправила Данилиана и кивнула.

– Конечно, великий и, разумеется, высшей... – поправилась Трусковецкая. – Извините!

– Калязин... – отрекомендовался Саша.

– А это профессор сексопатологии Константин Сергеевич Либиловский.

– Калязин... Издательство «Маскарон». – Саша пожал мягкую влажную руку сексопатолога.

– Это у вас выходила книжка Хуппера «Алиса в Заоргазмье»? – спросил он, борясь с одышкой.

– У нас.

– И напрасно. Хуппер не сексопатолог, а шарлатан.

Зал тем временем заполнился. Подбежал патлатый паренек и показал, как следует держать микрофон, если захочется что-нибудь сказать, – не далеко ото рта, но и не впритык.

– Скажите что-нибудь! – приказал он Калязину.

– А что я должен сказать?

– Звук нормально! – раздался зычный голос откуда-то сверху, и паренек умчался.

Следом появилась девчушка в клеенчатом передничке. Обмакнув в пудру большую кисточку, она легко обмахнула лицо Калязину, потом долго возилась с потной физиономией Либидовского. К Данилиане гримерша даже не притронулась, ибо над недвижным лицом магессы уже основательно поработал даже не гример, а, наверное, скульптор.

– Будем начинать! – распорядилась Трусковецкая и спросила в микрофон: – Что со светом?

– Свет – нормально! – ответил громовой голос сверху.

– Где Альберт?

– Сейчас освободится. Дает интервью американцам...

– Каким еще американцам? – возмутилась она. – Через час нас выгонят из студии к хренам собачьим!

– А ты пока зал погрей! – посоветовали сверху.

Трусковецкая тихо выругалась и с нелегко давшейся ей балетистостью взбежала на подиум:

– А вот сейчас мы проверим, как вы будете приветствовать нашего ведущего! Представьте, что я – это он. Итак, встречаем: Альберт Сугробов – автор и ведущий телешоу «Семейные катастрофы»!

Зал зааплодировал.

– Неплохо, – похвалила она. – Но как-то безрадостно. Еще раз. Встречаем: автор и ведущий телешоу «Семейные катастрофы» Альберт Сугробов!

Зал снова захолопал.

– Уже лучше! Но без огонька. А теперь еще раз и с огоньком!

Это повторялось раз семь и напомнило Калязину новогодние елки детства, когда вот так же неумный Дед Мороз с садисткой Снегурочкой заставляли ребятишек отбивать ладошки, чтобы зловредная елочка наконец-то зажглась.

Внезапно на подиум выбежал хмурый Альберт Сугробов. Зрители встретили его шквалом аплодисментов. Удовлетворенная Трусковецкая спустилась в зал и села на свободное место впереди Саши.

Шоумен был одет в длинный красный пиджак с белыми муаровыми лацканами и черные брюки в обликпу, напоминавшие скорее спортивное трико. Его наголо обрита голова сияла, как чугунное ядро. Глядя в зал с умело скрываемой ненавистью, он терпеливо переждал овацию, расправил плечи, оснастился ребяческой улыбкой и начал:

– Добрый день, дорогие телезрители! В эфире ток-шоу «Семейные катастрофы»! Хочу напомнить, что спонсор нашей программы – самый крупнейший во всем мире производитель детского питания фирма «Чайлдхадфудинтернейшнл»!

Выкрикнув последнее слово с восторженным надрывом, он указал рукой на висевшую в воздухе на тросиках эмблему фирмы – румяного карапуза с прожорливо разинутым ртом.

– Стоп! Еще раз! – гаркнул злой голос сверху.

Дело в том, что в этом, прямо скажем, непростом слове «Чайлдхадфудинтернейшнл» уставший от многочасового говорения шоумен допустил некую не совсем приличную невнятность... Сидевшая впереди Трусковецкая передернула плечами, оглянулась, встретила взглядом с Калязиным и, видимо, ища сочувствия, тяжело вздохнула. Саша понимающе кивнул. Сугробов тем временем прошелся по подиуму взад-вперед, поигрывая плечами, точно готовясь к теннисной подаче.

– Работаем! – приказали сверху.

– Добрый день, дорогие телезрители! В эфире ток-шоу «Семейные катастрофы»... Хочу напомнить, что спонсор нашей программы – крупнейший в мире производитель продуктов для детей фирма «Чайлдхудфудинтернейшнл»... – Выговорив опасное слово, шоумен торжествующе глянул вверх и продолжил: – Сегодня мы поговорим о таком тяжелом случае, как уход мужа из семьи в целях... в целях... Стоп! Сначала... – Он замахал руками, достал из кармана шпаргалку, исследовал ее сначала молча, а потом прочитал вслух: – «...в целях создания новой семьи или в поисках свежих сексуальных ощущений...» Кто это написал?! – заорал он. – Голову оторву!

Трусовецкая дернулась, снова повернулась к Саше и поделилась:

– Дебил! Двух слов выучить не может... Когда я была диктором Центрального телевидения, он работал осветителем... Маразм!

– М-да-а... – Калязин покивал и сразу вспомнил, откуда ему знакомо лицо редакторши.

На ходу поправили текст, и с третьей попытки Сугробов одолел вступление. Но тут выяснилось, что парчовый галстук ведущего сбился набок, и пришлось делать еще один дубль. Наконец шоумен перешел к сути дела.

– Брошенная, оставленная на произвол судьбы жена! – В его голосе появились патетические подвывания. – Что чувствует она? Как мыкает свое горе? Как борется за утраченное счастье? Об этом нам расскажет домохозяйка Ирина! Встречаем: брошенная жена Ирина!

Натренированный зал взорвался аплодисментами, показавшимися Саше совершенно кощунственными в данном конкретном случае, и он в знак протеста хлопнул только два раза, да и то еле слышно.

Тем временем в верхней части буквы «А» в луче прожектора возникла женщина и, смущаясь, стала неловко спускаться по лестнице. Ей было около сорока. Чуть располневшая фигура скрадывалась скромным, но со вкусом выбранным платьем. На милом, еще вполне привлекательном лице застыла скорбь семейной драмы. Особенно понравились Калязину ее глаза – темные, глубокие и чем-то знакомые. Саша вздрогнул: брошенная жена Ирина напомнила ему собственную брошенную жену. Нет, не внешне, хотя и Татьяна в последнее время от своих бесконечных лежачих телефонных переговоров немного располнела. Похожими их делал тот особый неброский шарм, очень редко встречающийся, который когда-то свел Калязина с ума и который с годами не исчезает, а становится тоньше, сообщая женщине некое позднее, прощальное благородство. Конечно, в Татьяне этого шарма Саша давно уже не замечал, но сейчас, глядя на печальную Ирину, он словно бы в смутном зеркальном отражении увидел свою жену...

– Фрустрационный аффект... – пробормотал справа Либиловский.

– Что вы сказали? – уточнил Саша.

– Это я так...

Ирина медленно, глядя себе под ноги, прошла по подиуму и села в кресло, бессильно уронив руки на колени.

– Скажите, Ирина, – задушевно спросил, выдержав пространную паузу, Сугробов, – что-нибудь предвещало вашу семейную катастрофу?

– Нет, ничего... – тихо ответила она, стараясь не смотреть в зал.

– Пожалуйста, громче!

– Нет, ничего... – Голос ее задрожал. – У нас была прекрасная семья. Мы знакомы с мужем со школы. И он всегда был так внимателен. Не пил, мастерил что-нибудь по дому. Соседи завидовали... Мама даже говорит: сглазили...

Данилиана слева удовлетворенно хмыкнула.

– У вас есть дети? – спросил Сугробов.

– Да. Коля недавно женился... Леночке – десять лет... Очень послушная девочка, безумно любит отца...

Это случайное совпадение – недавно женившийся сын – наполнило Калязина нехорошим предчувствием.

– И ничто не предвещало беду? – зловеще удивился Сугробов.

– Все было так хорошо! Муж устроился на новую работу в банк. Он экономист, очень опытный... Стал прилично получать. Я даже ушла с работы. Я была воспитательницей в детском саду... У нас появились деньги... Мы поменяли мебель... Я стала одеваться... Вот, платье купила... – Она всхлипнула и, чтобы скрыть волнение, расправила подол.

– Так что же случилось?

– У него появилась другая женщина. Его секретарша... Молоденькая... Не то что я теперь... Она буквально его приворожила...

– Дисморфомания, – пробурчал справа Либиловский.

Данилиана слева победно засопела.

«Идиотизм какой-то! – внутри душевно содрогнулся Калязин, и на минуту ему показалось, что это шоу специально устроено, чтобы унижить и оболгать его. – Но не мог же Гляделкин организовать все это специально? Это ведь стоит безумных денег, а он за копейку удавится! Нет, простое совпадение...»

– Когда вы узнали об этом? – решительно спросил брошенку Сугробов.

– Сначала я догадалась...

– Каким образом?

– Я не знаю, как об этом сказать... Здесь...

– Я вам помогу. Муж к вам охладел?

– Да, охладел, – облегченно подтвердила она. – Он приходил домой, отдавал деньги, но как женщина я его больше не волновала...

– И что вы сделали?

– Ничего. Ждала, пока нагуляется...

– А он не нагулялся?

– Нет. Однажды он пришел с работы раньше обычного, позвал меня на кухню, чтобы Леночка не слышала, и сказал, что уходит от меня...

– И чем же он мотивировал этот поступок?

– Мотивировал? Да, мотивировал... Он сказал, что в банке многое понял, что у него теперь новая жизнь и в этой новой жизни ему нужна другая женщина, которая его понимает и помогает ему... И такая женщина у него теперь есть...

– А вы ему, значит, не помогли?

– Помогала! В институте я ему конспекты переписывала...

– Вот она, мужская неблагодарность! – воскликнул Сугробов и впился взглядом в зал, ища сочувствия.

Зрители, надо сказать, уже возмущенно роптали. Калязин на минуту представил себе, что вместо Ирины в кресле сидит Татьяна, – и ему стало горько.

– Печальный случай, – покачал головой ведущий. – Но подозреваю, тут дело сложнее. Наверное, вы в какой-то момент перестали соответствовать его жизненным стандартам. Ведь так?

– Я села на диету... – вымолвила женщина.

– Наверное, этого оказалось недостаточно?

– Наверное...

– И с тех пор вы с мужем не виделись?

– Нет, он собрал вещи. Оставил мне квартиру. Даже из новой мебели ничего не взял, кроме своего письменного стола. Деньги он мне присылает по почте...

– А вы бы хотели его увидеть?

– Хотела бы, – прошептала она безнадежно. – Но он больше не придет...

– Не придет? – победно возвысил голос Сугробов. – То, что невозможно в жизни, возможно на телевидении! Встречаем: Анатолий, муж, бросивший Ирину!

И зал снова заплодировал, вызвав у Калязина приступ тошноты. Из буквы «А» решительно вышагнул и ловко сбежал по лестнице невысокий подтянутый Анатолий, одетый в характерный для банковских служащих дорогой костюм с изящным – не в пример ведущему – галстуком. У Анатолия было узкое лицо, крупный нос и близко поставленные глаза, смотревшие настороженно. Увидев его, Ирина страшно побледнела, губы ее задрожали, она судорожно вцепилась в брошь на груди и отвернулась, чтобы не смотреть на блудного мужа. Он сел рядом с бывшей женой и машинально отодвинулся вместе с креслом.

– Не двигайте стул! – раздался суровый окрик сверху. – Свет собьете!

Блудный муж неохотно вернул кресло на прежнее место. Сугробов подошел к нему и некоторое время молча смотрел с осуждающим любопытством.

– Здравствуйте, Анатолий, – наконец заговорил Сугробов. – Спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче!

– Пожалуйста, – ответил тот, бросив короткий взгляд на Ирину.

– Скажите, Анатолий, неужели вам не жаль разрушенной семьи?

– Жаль.

– Так, может быть, вы совершили ошибку и вот сейчас, на глазах у многомиллионных телезрителей исправитесь? Ирина, вы бы простили Анатолия?

– Простила бы... – еле слышно отозвалась она, мертво глядя в угол студии. – Ради детей...

– Громче! – потребовал голос сверху.

– Не могу я громче, не могу! – закричала она и забилась в истерику.

Зал нехорошо зашумел. Пока помреж бегал за водой, а сексопатолог, борясь с одышкой, лазил на подиум и шупал пульс у рыдающей Ирины, Сугробов стоял возле розового куста, меланхолично поглаживая бутоны. А Калязин в смятении вспоминал свой последний разговор с Татьяной и особенно то, как она впивалась в него ледяными пальцами, вглядываясь в его глаза и шептала, плача: «Са-аша, какой ты жесто-окий!»

Наконец все уgomонились.

– Скажите, Анатолий, – строго спросил ведущий, оставляя в покое розы, – вы готовы вернуться к Ирине?

– Нет!

Зал ахнул.

– Почему же?

– Это невозможно. Я не хочу возвращаться в прошлую жизнь. Я встретил другую женщину... Алену. Мне с ней хорошо.

– А с Ириной вам было плохо?

– Неплохо... Не знаю даже, как сказать. Мне с ней было никак.

– Всегда?

– Теперь я понял, что – всегда.

Данилиана слева коротко хохотнула.

– Диапазон приемлемости, – шепнул справа Либиловский.

– А с Аленой вам хорошо?

– Да.

– Что же это за Алена такая волшебная? Чем же она так хороша?

– Тем, что я ее люблю.

– А Ирину не любите?

– Нет, не люблю... Я благодарен ей за все хорошее, что у нас было. За детей... Но жить с женщиной, которую не любишь, по-моему, безнравственно...

– А жену с детьми бросать нравственно?! Гаденыш! – злобно крикнула из зала какая-то вполне приличная женщина.

Трусковецкая оглянулась и поискала глазами нарушительницу телевизионной дисциплины.

– Во-первых, давайте без взаимных оскорблений! – призвал Сугробов. – На нас смотрят миллионы. А во-вторых, мы дадим слово и вам, уважаемая. Но позже... Потерпите! Что вы на это скажете, Анатолий?

– Скажу: если бы вы хоть раз увидели Алену, то не называли бы меня «гаденышем»...

– Ах так?! Будь по-вашему!! – радостно завопил шоумен. – Встречаем: разлучница Алена!

Зал взвыл от такой наглости и бешено зааплодировал. По ступенькам уже спускалась молодая длинноногая особа в черных брючках. У нее были короткие рыжие волосы, и эта мальчишеская стрижка вкупе с узкими подвижными бедрами пикантно противоречила ее большой груди, волновавшейся под полупрозрачной кофточкой без всяких утеснений.

– Предклимактерическая девиация с фрагментарной гомосексуальностью... – вздохнул справа Либидовский.

Данилиана слева презрительно фыркнула, а Калязин с облегчением отметил, что эта хищная разлучница совершенно не похожа на Инну, разве что четкой, поставленной секретарской походкой.

Алена решительно подошла к креслу, села рядом с Анатолием и успокаивающе погладила его напряженную руку. Пальцы у нее были длинные, с ярко-красными острыми ноготками. Угрюмое, почти злое лицо неверного мужа потеплело. А потрясенная Ирина смотрела на соперницу в каком-то жалком оцепенении, точно только сейчас наконец поняла всю бессмысленность надежд на возвращение мужа...

– Хороша-а стерва! – шепнула, обернувшись, Трусковецкая.

– Хороша! – кивнул сексопатолог.

– Не в моем вкусе, – отозвался Саша.

Данилиана только пожала эполетами. Сугробов несколько раз обошел вокруг Алены, облизнулся и спросил:

– Алена, вам не стыдно?

– А почему мне должно быть стыдно? – Она нахмурила тонко выщипанные брови.

– Вы разрушили семью!

– Нельзя разрушить то, что уже разрушено!

– Ну и бесстыжая! – взвизгнула в зале все та же вполне приличная женщина.

– Выведу! – сурово пообещал Сугробов, найдя взглядом оскорбительницу, и снова обернулся к Алене: – Поясните, что вы имели в виду?

– Семья должна помогать мужчине состояться в жизни, а не наоборот...

– Что значит – наоборот?

– А то! Анатолий – человек выдающихся способностей. В банке его считают одним из лучших, и я уверена – он сделает блестящую карьеру. Это для него главное! А знаете, чем его заставляли заниматься в прежней семье?

– Вы нас пугаете... Чем же?

– Обои клеить! – с гадливостью сообщила она.

– Что же в этом плохого? – картинно изумился Сугробов.

– А что плохого в том, если компьютером гвозди забивать! – тонко улыбнулась Алена.

– Я думала... ему нравится... по дому... – пробормотала Ирина, совершенно раздавленная происходящим.

– А как вы познакомились? – полюбопытствовал шоумен.

– Мы вместе работаем. Толя мне сразу понравился... Я восхищалась его талантом и работоспособностью. Я ему старалась во всем помогать. Мы сблизились. Сначала просто как коллеги... Потом поехали вместе в командировку. И так получилось...

– Что получилось?

– Мы стали близкими... людьми...

– Кто сделал первый шаг?

– Не помню. Мы оба этого хотели... Когда все случилось, я поняла еще одну вещь: он был несчастен как мужчина...

– То есть вы хотите сказать, в прежней семье Анатолий был неудовлетворен сексуально?

– Да, именно это я и хочу сказать.

Лицо Ирины исказилось беспомощной гримасой, и слезы заструились по щекам. Она закрыла лицо руками. Зал зароптал. И тут раздался по-базарному истошный вопль:

– Тварь ты гулящая, а не помощница! – Это вопила, вскочив со своего места, все та же приличная дама.

– Я полагаю, нам лучше уйти! – сказала Алена, густо покраснев, и резко встала. – Толя, мы немедленно уходим!

– Нам гарантировали, что все будет в рамках приличий! – добавил, поднимаясь из кресла, Анатолий.

– Прошу... Умоляю вас остаться! – заегозил Сугробов. – А вас, гражданочка, я, кажется, предупреждал...

Он махнул рукой. Откуда-то возникли три дюжих охранника в черном. Под руководством сорвавшейся с места Трусковецкой они стащили бузотерку с кресла и повлекли к выходу. Почти уже утащенная за выгородку, ругательница вдруг на мгновение извернулась и, перед тем как исчезнуть навсегда, плюнула в сторону разлучницы Алены:

– Будь ты проклята, лярвь паскудная! Из-за такой же суки я одна троих детей подымала!..

Зал возмущенно шумел, выражая солидарность с выведенной.

– Сублимативная аффектация по истероидному типу, – доверительно пояснил Либиловский, наклонившись к Саше.

Трусковецкая тем временем решительно схватила микрофон и строго предупредила:

– Если сейчас же не успокоитесь, остановлю съемку!

Но зал ревел.

К счастью, голос сверху объявил, что нужно поменять кассеты и поэтому объявляется перерыв – пять минут. Это было очень кстати. Трусковецкая метнулась в ряды, стыдя и отчитывая наиболее горлопанистых зрителей. Сугробов грудью заступил дорогу Анатолию и Алене, которые, взявшись за руки, направились к выходу. Он их жарко убеждал, а гримерша тем временем обмахивала кисточкой его вспотевшую от переживаний лысину. Данилиана четким военным шагом поднялась на подиум, подошла к рыдающей Ирине и стала делать успокаивающие пассы над ее головой, время от времени стряхивая со своих пальцев что-то очень нехорошее.

Калязин смотрел на все происходящее с тошнотворным ужасом. Ему померещилось, что в кресле плачет никакая не Ирина, а неутешная, истерзанная Татьяна, что это его, Сашу, а не замороженного банкира пытается увести с подиума неумолимо-хваткая Алена. Ему даже показалось, что вот сейчас она возьмет и скажет Инниным голосом: «Анатолий, не разочаровывай меня!» Он вдруг словно прозрел – и внезапно увидел жуткую, неприличную, непоправимую изнанку своего нового счастья... Конечно, он знал об этой страшной изнанке, не мог не знать, но теперь увидел – и содрогнулся...

Наконец все потихоньку успокоились и воротились на свои места. Голос сверху сообщил, что кассеты заменены и можно продолжать съемку. Сугробов веселой трусцой сбежал с поди-

ума и направился к зрителям. Его густо запудренный голый череп напоминал уже не чугунное, а каменное ядро.

– Ну а теперь давайте послушаем зал! И прежде всего я хотел бы услышать мнение известного специалиста в области семьи и секса профессора Либидовского!

Профессор взял микрофон, старательно определил его не далеко и не близко ото рта – именно так, как положено, и долго, с лекционной монотонностью говорил про то, что половой деморфизм, в принципе осложняющий взаимоотношения мужчины и женщины, особенно обостряется после многих лет супружества и зачастую ведет к стойкому несовпадению диапазонов сексуальной приемлемости, а это в конечном счете чревато стертым воллюстом у мужчин и аноргазмией у женщин. И хотя отношения между супругами регулируются прежде всего психоэмоциональными и иными внегенитальными, в том числе социальными факторами, тем не менее нарушение гармонии коитуса может привести не только к распаду нуклеарной семьи, но и к опасным половым девиациям и тяжелым психическим расстройствам. Однако всего этого можно счастливо избежать, если своевременно обратиться за консультацией в возглавляемый им, Либидовским, Центр брачно-сексуального здоровья «Агапэ». А словом «Агапэ» древние греки называли...

– Константин Сергеевич, – с мягким раздражением перебил Сугробов. – Надеюсь, вы еще не раз придете к нам в гости, и мы обязательно спросим у вас и про агапэ, и про коитус, и про катарсис... А сейчас, дорогие телезрители, давайте выслушаем мнение великого магистра высшей белой магии, несравненной Данилианы!

Либидовский нехотя передал микрофон, увенчанный большим поролоновым шаром, посуровевшей магессе. У нее оказался низкий, почти мужской голос и сильный кавказский акцент. С усмешкой глянув на профессора, она заявила, что там, где бессильна наука, на помощь людям приходит безгрешное колдовство, освященное – в ее конкретном случае – благословением митрополита Кимрского и Талдомского Евлогия.

Далее Данилиана гарантировала всем обратившимся к ней полный отворот от разлучника или разлучницы, пожизненный приворот к законной семье, снятие порчи, сглаза, а также родового проклятия с попутной корректировкой кармы и, наконец, установку стопроцентного кода на удачу в деньгах и личной жизни...

– Значит, вы можете вернуть Анатолия к Ирине?! – воскликнул Сугробов.

– Пусть зайдет! – кивнула Данилиана и странно усмехнулась, обнаружив полный рот золотых зубов.

Сугробов осторожно, словно боясь сглаза или порчи, забрал у нее микрофон и заметался по амфитеатру, выясняя мнение зрителей. А мнения разделились. Большинство шумно кляло похотливого Анатолия и жестокую Алену. Некоторые осуждали Ирину, проморгавшую мужа, а теперь вот пришедшую на телевидение – жаловаться. Третьи философски рассуждали о любви как о разновидности урагана, сметающего и правого, и виноватого...

Калязин даже немного подуспокоился, выяснив, что есть, оказывается, люди, способные понять безвинное непротивление обрушившейся на него любви. Но это был уже не тот покой, не та уверенность в своей сердечной и плотской правоте, с которыми он час назад приехал в Останкино.

Сугробов порхал между рядами, поднося микрофон то одному, то другому желающему. Наконец он остановился возле юноши, сидевшего, низко опустив голову.

– Ну а вы, молодой человек, ничего не хотите сказать?

– Хочу! – дерзко выкрикнул парень, вскочил и вырвал микрофон у опешившего ведущего. – Отец, ты нас предал!

Зал застонал и зауהל, заметив, насколько юноша похож на Анатолия: то же узкое лицо с крупным носом, те же близко поставленные глаза, те же волосы... Банкир дернулся, точно ему

дали пощечину. Алена выпрямилась и гневно потемнела лицом. А Ирина смотрела на сына с мольбой, будто хотела спросить: «Зачем ты здесь? Зачем?»

– Да, дорогие телезрители! – скороговоркой спортивного комментатора разъяснил обстановку Сугробов. – Сын Ирины и Анатолия – Коля тоже решил прийти на нашу передачу... И мы не посмели ему отказать! Простите, Коля, что перебил вас! Так что вы хотели сказать отцу?

– Я... я... – покраснел сбитый с толку юноша, но справился с собой и крикнул, срывая свой неокрепший басок: – Ты предал нас! Я никогда не прощу тебе того, что ты сделал с мамой! У тебя больше нет сына!!

С этими словами, плача и расталкивая потрясенных зрителей, Коля бросился вон.

– Снято! – весело крикнули сверху. – Давай финал. Потом – перебивки.

Зал оцепенел. Трое несчастных недвижно сидели в креслах. А Саша совершенно некстати вспомнил одну давнюю и очень обидную Татьянину шутку. Она была уже на шестом месяце, а молодой, горячий Калязин все никак не мог утихомириться, клятвенно обещая быть ювелирно осторожным.

«Ладно, – вздохнув, согласилась жена. – Надеюсь, после рождения ребенок будет видеть тебя так же часто...»

«Что-о?!» – одновременно обалдев и охладев, вскричал он.

«Извини, я неудачно пошутила...»

«Ты... Ты думаешь, что я?... Я способен...»

«Я ничего не думаю. Я тебе верю...»

Тем временем Сугробов медленно вернулся на подиум, несколько раз в раздумье обошел розовый куст и наконец с усилием, словно одолевая горловой спазм, проговорил:

– Да, я понимаю... Это жестоко... Это горько... Но, может быть, катастрофа, разрушившая эту семью, научит нас с вами хоть чему-нибудь... Спасибо, что были с нами! До новых встреч... Ирина, Анатолий, Алена, простите меня!..

Он наклонился и, положив к их ногам микрофон, словно странный черный цветок к подножию скорбного памятника, тихо удалился.

Измученный, Калязин невольно подумал о том, что в этом дурацком Сугробове все-таки что-то есть, какой-то особенный – паскудный и печальный – талант.

Юпитеры погасли. Народ потянулся из студии к выходу, обсуждая увиденное. Несколько женщин окружили Данилиану, выпрашивая адрес ее колдовского офиса. Людиновец с пухлой папкой под мышкой увязался за сексопатологом. Алена, крепко схватив под локоть, увела с подиума Анатолия, ставшего сразу каким-то жалким и неуклюжим. И только Ирина все так же сидела, уронив руки на колени, и неподвижно смотрела в пустеющий зал. Подойти к ней никто не решился.

– А вы чего ж не выступили, Александр Михайлович? – участливо спросила Трусковецкая.

– Я... Зачем? – вяло отозвался Саша, вспомнив, что так и не выполнил гляделкинское задание.

– У вас неприятности? – посочувствовала редакторша и вдруг заметила, как кто-то из зрителей пытается на память отщипнуть бутон от розового куста.

– Да как вам сказать...

– Не трогайте икебану! – взвизгнула она. – Извините, Александр Михайлович! – И умчалась наводить порядок.

Калязин побрел к выходу. Проходя мимо все еще сидевшей в кресле Ирины, Саша остановился и тихо сказал:

– Не расстраивайтесь! Он одумается и обязательно вернется. Я знаю...

Прямо из Останкина Калязин поехал домой, но не в Измайлово – к Инне, а на Тишинку – к Татьяне.

Он тихо открыл дверь своим ключом и тут же почувствовал запах родного жилища. Нет, не жилища – жизни. Незъяснимый словами воздух квартиры словно вобрал и растворил в себе всю Сашину жизнь до самой последней, никчемной мелочи. Ему даже почудилось, будто он ощущает вольерный дух кролика по имени Шапкин, купленного когда-то, лет пятнадцать назад, ко дню рождения Димки. Шапкин давным-давно издох от переедания, но в веяньях квартирных сквозняков осталось что-то и от этого смешного длинноухого зверька.

Жена была на кухне – стряпала. На сковородке шипели, поджариваясь, как грешные мужья в аду, котлетки. Увидев Калязина, она сначала растерялась, стала поправлять передничек, подаренный мужем к Восьмому марта, но быстро взяла себя в руки. От той, прежней Татьяны, униженно соглашавшейся на все, даже разрешавшей ему иметь любовницу, ничего не осталось. В лице появилась какая-то сосредоточенная суровость.

– Здравствуй! – тихо сказал он.

– Здравствуй!

– Как дела?

– Нормально...

– Закончила со Степаном Андреевичем?

– Нет, не закончила. – Татьяна удивленно посмотрела на мужа. – Он умер. Снял паркет и от расстройства умер...

– Жаль...

– Очень жаль! Хороший был дядька. Фронтовик. Ты за вещами?

– Нет...

– Если пригнал машину, то напрасно. Мы с Димой посоветовались – нам от тебя ничего не надо. Проживем...

– Нет... Я вернулся...

– Что значит – вернулся?

– Насовсем...

– Сначала ушел насовсем. Теперь вернулся насовсем. Так не бывает!

– Бывает. Я хочу вернуться, – поправился Калязин, – если простишь...

– А любовь? Неужели кончилась?! Так быстро?

– Не было никакой любви. Я же тебе объяснял: я просто хотел пожить один...

– Ну и как – пожил?

– Пожил.

– Не ври! Гляделкин мне все рассказал. У вас прямо с ним какая-то эстафета получилась!

– Не надо так, Таня!

– А как надо?

– Не так...

– Только так и надо. Наблудился?

– Мне уйти?

– Как хочешь... Но лучше уйди!

– Почему?

– А ты не понимаешь? От тебя за версту этой твоей Инной... или как ее там... разит. Проветришь, Саша!..

Но по тому, как она это сказала, Калязин понял, что жена его простит, не сразу, конечно, не сейчас, но простит обязательно.

– Я пошел? – спросил он, жадно глядя на шипящую сковородку.

– Иди. Котлеток дать с собой?

– Не надо.

– Значит, кормленный? – усмехнулась жена.

– Можно, я завтра после работы приду?

– Можно.

Он направился к двери.

– Подожди! – Татьяна подошла к нему, брезгливо глянула на несвежий воротничок сорочки и ушла в спальню.

Вернулась она оттуда с двумя аккуратно сложенными рубашками. Отдала их мужу.

– Спасибо...

– Какой же ты, Коляскин, дуrolом! – сказала грустно жена и легонько щелкнула его по носу.

Ему показалось, что вот сейчас она бросится ему на шею и никуда не отпустит, но Татьяна подтолкнула его к двери:

– Иди! Я тебе позвоню в Измайлово. И если... Учти, я по твоему голосу сразу пойму!..

– Зачем ты меня обижаешь?

– Иди, обидчивый, проветришься! И Димке позвони. Стыдно перед мальчиком...

Калязин вышел из подъезда, постоял немного в скверике возле грузинского памятника. Ехать в Измайлово за вещами он не мог. Надо было, конечно, хотя бы позвонить Инне, предупредить, чтобы не ждала. Но в ушах, набухая, шумело ее беззвучное «Я тебя люблю!». Наверное, подскочило давление. Он побрел по Васильевской к Тверской, соображая, у кого бы из друзей переночевать.

Проходя мимо Дома кино, Саша вспомнил про котлеты, снова почувствовал голод и решил поужинать. В киношный ресторан он иногда захаживал по-соседски, если появлялись лишние деньги. Когда-то сюда было невозможно попасть – пускали только своих, и Саше приходилось предъявлять издательское удостоверение, ссылаясь на служебную необходимость. Но теперь настали другие времена – и каждому желающему потратиться радовались, как родному.

Здесь они с женой отмечали двадцатилетие совместной жизни. В День строителя, разумеется. За соседним столиком гуляли настоящие строители, шумно пили за какой-то таинственный «объект». Один из них, сильно захмелев, стал заглядываться на Татьяну, а когда заметил, что Калязину это не нравится, встал, пошатываясь, подошел и с преувеличенной пьяной вежливостью обратился к Саше:

«Я извиняюсь... Я всего лишь навсего имею честь заявить, что у вас оч-чаровательная жена! Хочу, чтоб вы знали!»

«Спасибо, я знаю», – сдержанно отозвался счастливый обладатель.

«А что, если не секрет, отмечаете?»

«День строителя!» – кокетливо улыбнулась явно польщенная Татьяна и под столом ущипнула мужа.

«Да вы что?! – озарился незнакомец. – Да вы же наши люди! За “объект” – до дна!»

На следующее утро Саша очнулся в том потустороннем состоянии, когда мир приходится познавать заново, соображая, к примеру, как надеваются брюки.

Калязин заглянул в кошелек и установил, что на выпивку с закуской хватит. Он поднялся на четвертый этаж, сел за свободный столик в уголке, заказал графинчик водки, соленья, «киевскую» котлету и в ожидании стал листать записную книжку, прикидывая, к кому бы ловчее напроситься на ночлег. При этом у него в голове уже начали выстраиваться обрывки будущего разговора Инной. Он отмахивался от этих обрывков, убирал куда-то вглубь, но они снова вылезали наружу, как иголки из мозгов Страшилы – так вроде звали соломенного человечка в «Волшебнике Изумрудного города».

«Инна, ты должна меня понять... Жизнь человека состоит... И прожитые годы... Нет, не так! Инна, давай рассуждать здраво: мне сорок пять, тебе двадцать пять... Я тебя же люблю, но пойми... И потом, ты прости, но Он всегда будет... между нами... Нет, этого нельзя говорить ни в коем случае!.. И вообще ничего говорить не надо! Она сама все поймет, презрительно засмеется и скажет: “На этом, полагаю, наш с вами служебный роман можно закончить...” А

если не скажет?.. Господи, у всех нормальных людей сердце как сердце: “Да-да... Нет-нет...” А у тебя, слизняка: “Если-если-если...”»

Тем временем в ресторанный зал ввалилась шумная компания, судя по возгласам, собиравшаяся что-то немедленно отметить. Калязин поднял глаза и обмер: это были Ирина, Анатолий, Алена и Коля из сегодняшнего телешоу. Да, именно они, два часа назад чуть не разорвавшие Саше душу своими муками. Но только сейчас все они были веселы, шумливы, радостно кивали сидящей за столиками знакомой киношной публике, даже кое с кем, как это водится у творческих работников, обменивались мимолетными поцелуями. Ирина, переодевшаяся в короткое малиновое платье с глубоким вырезом и совершенно не похожая теперь на безутешную брошенку, пронзительно визжа, повисла на шее у какого-то смутно узнаваемого актера. Алена собственнически держала Колю под руку, а возбужденный Анатолий поощрительно трепал его по волосам, громко хваля за органику и одновременно советуя в следующий раз не переигрывать...

Сомнений не оставалось: они были актерами, и актерами, конечно, хорошими, если до сих пор от их подлой игры там, в Останкине, у Саши болело сердце!

Наконец принесли водку. Калязин выпил две рюмки подряд и понял, что сегодня лучше всего ему переночевать на вокзале...

Подземный художник

Повесть

Но есть минуты, темные минуты...
Н. Гоголь. «Портрет»

1

Эта история началась в душный июльский день, когда жара, точно изнурительно пылкая любовница, преследует и мучит, не оставляя в покое ни дома, ни на службе, ни за городом...

Темный, отливающий рыбьей синевой «мерседес» остановился на углу Воздвиженки и Арбатских Ворот, в самом, что называется, неполюженном месте. Постовой милиционер, радостно помахивая жезлом, заспешил к нахальному нарушителю. Но, увидав номер, содержащий какую-то, наверное, только ГАИ внятную тайну, поморщился, отвернулся и стал высматривать иную поживу, побезопаснее.

Открылась автомобильная дверца, и наружу вылез плечистый, коротко остриженный парень, одетый в черный костюм, в каких обычно ходят телохранители и похоронные агенты. Нос у парня был когда-то сломан самым чудовищным образом. Он поежился, будто из прохладного предбанника попал в жаркую парную, и, почтительно склонившись, помог выбраться из машины молодой женщине, точнее – даме.

Она была хороша! Высокая, стройная, но без той подиумной впалой членистоногости, которая почему-то выдается теперь за совершенство. Наоборот, ее узко перехваченная в поясе фигура обладала всеми необходимыми слабому полу обогащениями, волнующе очевидными под беззащитным летним шелком. Собранные в узел темно-золотистые волосы открывали высокую шею, перетекавшую в плечи таким необъяснимым изгибом, что просто дух перехватывало.

Выйдя из машины, женщина тут же надела большие темные очки, поэтому залюбовавшийся прохожий мог оценить лишь тонкий прямой нос, нежный подбородок и ярко-алые губы, нарисованные с художественной основательностью – такую могут себе позволить лишь немногие женщины, для которых тратить время и тратить деньги – примерно одно и то же.

В прежние годы подобных красавиц можно было встретить в кино, на улице и в общественном транспорте. По этому поводу кто-то даже сочинил двустиише:

Затосковал? В метро сходи ты!
Там обитают афродиты...

Но пришли новые времена. Одни красавицы уехали за обеспеченным счастьем в дальние страны, другие заселили телевизор, а третьи заточены теперь в подмосковных замках, окруженных трехметровыми заборами, и в город приезжают разве что в дорогих машинах с непроливаемыми стеклами. Очевидно, их мужья и любовники ни в коем случае не желают делиться со всем остальным миром ухваченной по случаю красотой. Нет, конечно, на столичных улицах еще можно иной раз увидеть совершенство, разглядывающее витрину бутика, но в подобных редких случаях автор этих строк, к примеру, чувствует себя орнитологом, обнаружившим на ветке дворового тополя жар-птицу.

Дама огляделась и тихим беспрекословным голосом приказала телохранителю:
– Костя, вы останетесь здесь!

– Но, Лидия Николаевна, Эдуард Викторович меня уволит...

– Я вас тоже могу уволить!

– Увольняйте!

Она пожала своими необъяснимыми плечами, вздохнула и сказала уже не так строго:

– Но вы можете хотя бы постоять в стороне? Вы же всех распугаете!

– Это входит в мои обязанности.

– Костя! – Она уже почти просила.

– Ладно. Но если что-нибудь...

– Все будет хорошо!

Женщина поправила волосы и пошла к подземному переходу.

– Куда это она? – поинтересовался, высунувшись из машины, водитель.

– Хочет, чтобы ее нарисовали, – объяснил Костя с развязностью, с какой обслуга, оставшись наедине, обсуждает хозяев.

– В такую жару?!

– Чудит! – Телохранитель недоуменно хрюкнул перебитым носом и двинулся следом.

Лидия Николаевна – чуть боком, из-за высоких каблуков, но все равно грациозно – спустилась вниз и подошла к тому месту, где на складных стульчиках сидели художники с большими папками на коленях. Возле каждого на треногах красовались рекламные портреты, обязанные очаровывать и заманивать легкомысленных прохожих. На рисунках были изображены в основном знаменитости: например, Алла Пугачева, так широко разинувшая поющий рот, точно хотела проглотить микрофон. Но если, хоть и с большим трудом, все-таки можно предположить, что великая эстрадница когда-то ненароком, из озорства и забредала в этот переход, то обнаженный по пояс мускулатурный Сталлоне едва ли появлялся тут со своим огромным ручным пулеметом. А уж Мадонна с младенцем и подавно...

В подземном переходе веяло бетонной прохладой, и, наверное, поэтому художники, обыкновенно мающиеся в ожидании клиентов, были заняты работой: с внимательной иронией они вглядывались в лица граждан, застывших перед ними на складных стульчиках, и чиркали по ватману остренькими карандашиками, угольками или пастельками. И только к одной треноге вместо рекламной фантазии был прикреплен небольшой простенький портрет девочки-школьницы, улыбающейся и в то же время страшно расстроенной.

«Наверняка, паршивка, получила двойку, – подумала женщина, – а родителям наврала, что пятерку. Может, даже в дневнике переправила, как Вербасова. За это ее повели сюда – рисоваться, а она сидит и переживает...»

Художника около треноги не оказалось. Лидия Николаевна снова вздохнула и стала прогуливаться по переходу, сравнивая изображение на листах с лицами оригиналов, замерших в ожидании сходного результата и еще не ведавших о предстоящем разочаровании. Никто из подземных художников явно не обладал чудесным талантом портретиста, способного, как сказал поэт Заболоцкий, «души изменчивой приметы переносить на полотно». Некоторые из них, заметив богатую скучающую клиентку, явно заторопились. Один, напоминавший Сезанна, но только лысиной и бородой, даже крикнул:

– Минуточку, мадам, я заканчиваю!

Посадив на лист несколько совершенно необязательных штрихов, он схватил баллончик с лаком для волос и поппикал на портрет, потом несколько раз взмахнул ватманом в воздухе и вручил его растерянной юной провинциалке, позировавшей, намертво зажав между ног большую дорожную сумку. Лидия Николаевна не случайно обратила на девушку внимание: именно такой, испуганной и больше всего на свете боящейся остаться без багажа, она сама почти десять лет назад приехала в Москву из Степногорска.

– Разве это я? – удивилась провинциалка.

– А кто же еще? – хрипло засмеялся псевдо-Сезанн и выхватил из ее пальцев заготовленные деньги.

– Не похоже...

– Как это – не похоже? Вы просто никогда не смотрели на себя со стороны!

Он отобрал рисунок и продемонстрировал коллегам. Портрет не имел ни малейшего сходства с натурой, разве что рисовальщику удалось схватить страх перед столичными ворами, который внушала девушке родня перед поездкой в Москву. Однако подземные художники дружно закивали: мол, похоже, очень даже похоже, и сделались точь-в-точь как рыночные продавцы, единодушно расхваливающие недоверчивому покупателю явно несвежий продукт соседа по прилавку. Пристыженная провинциалка забрала рисунок, свернула в трубочку и поволокла прочь свою сумку.

– Садитесь, мадам! – Халтурщик указал на освободившееся место. – Сейчас я вас изображу!

– Нет, не изобразите, – покачала головой Лидия Николаевна.

– Почему это – не изображу? В любом виде изображу!

– Вы не умеете.

– Что значит не умею? Я Суриковку закончил!

– Дело не в том, кто что окончил, а в том, кто на что способен.

– Да идите вы! – помрачнел псевдо-Сезанн. – Не мешайте работать! Кто следующий?

Но лучше бы он этого не говорил. На стульчик перед ним тяжело уселся Костя:

– Я – следующий. И не дай бог мне не понравится!

Суриковец испуганно посмотрел на громилу-телохранителя, быстро заправил чистый лист и засуетился карандашом. Тем временем освободился еще один художник, но, едва Лидия Николаевна двинулась к нему, он отрицательно помотал головой:

– Вам лучше Володю Лихарева подождать.

– А где он?

– Пошел куда-то. Вернется. Но он рисует только тех, кто ему понравится...

– А вы?

– Мы – всех, кто платит. Присядьте, вон его место. – И художник указал на пустовавшие стульчики около треноги с портретом школьницы.

Она просидела минут десять, наблюдая за тем, как на ватмане псевдо-Сезанна стало вырисовываться нечто очень отдаленно, но весьма льстиво напоминающее Костину изуродованную физиономию.

– Вы хотите портрет?

Лидия Николаевна обернулась на голос: перед ней стоял худощавый, почти тощий молодой человек в потертых джинсах и вылинявшей майке. Его впалые щеки и подбородок покрывала короткая борода, а длинные волосы были собраны в косичку. Он внимательно и чуть насмешливо смотрел на женщину, расправляя длинные нервные пальцы, точно виртуоз перед выходом на сцену.

– Да, я хочу портрет!

– А почему здесь? Приходите ко мне в мастерскую! Я дам адрес.

– Нет, здесь! – капризно сжав губы, ответила Лидия Николаевна.

– Ну что ж, здесь так здесь. Давайте попробуем...

– Значит, я вам понравилась?

– Понравились. Но должен вас предупредить: я беру дорого.

– Это неважно. Я заплачу столько, сколько скажете, если и мне понравится!

– Договорились.

Он разложил на коленях папку и несколько раз провел ладонями по чистому листу, точно стряхивая невидимые соринки, потом долго в задумчивости осматривал карандаш.

- Вы хотите, чтобы я нарисовал вас в этих темных очках?
 - Нет, конечно! Я просто забыла...
 - Ну разве можно прятать такие глаза? – улыбнулся Володя. – Они у вас цвета вечерних незабудок.
 - Почему вечерних?
 - Потому что, когда солнце прячется, все цветы грустнеют. Как вас зовут?
 - Лидия.
 - Меня – Володя.
 - Я знаю. Вы не похожи на остальных...
 - Что ж в этом хорошего? Непохожим живется трудней. У вас есть тайна?
 - Что?
 - Тайна.
 - У каждого есть какая-нибудь тайна...
 - Нет, вы меня не поняли. Есть у вас нечто такое, что вы скрываете ото всех? От вашего мужа, например?
 - А почему вы решили, что я замужем? Из-за кольца?
 - Кольца? Честно говоря, я не заметил вашего кольца. Просто у вас лицо несвободной женщины.
 - Почему – несвободной?
 - Мне так показалось.
 - Володя, вы хотите выяснить мое семейное положение или нарисовать меня? Да, я замужем. Этого вам достаточно?
 - Достаточно. Но должен вас предупредить: портрет может выдать вашему мужу что-нибудь такое, что ему знать совсем даже не следует.
 - У меня нет тайн от мужа.
 - Не сейчас – так потом, когда тайны появятся.
 - По-моему, вы преувеличиваете ваши способности.
 - Я честно вас предупреждаю. Может быть, не будем рисковать?
 - Нет у меня никаких тайн. И не будет. Рисуйте! – Щеки Лидии Николаевны вспыхнули, а тщательно выщипанные брови гневно надломились.
 - Замечательно! Ах, какие у вас теперь глаза!
 - Какие?
 - Цвета предгрозовой сирени.
 - Все вы это выдумываете!
 - Стоп! Постарайтесь не шевелиться!
- Взяв карандаш в ладонь, Володя сжал его большим и указательным пальцами, потом сделал быстрое круговое движение, точно наложил надрез на бумагу, и начал рисовать, изредка вглядываясь в сидящую перед ним женщину. При этом он чуть заметно улыбался, словно всякий раз находил в ее лице подтверждение тому, что знал про нее заранее.
- «Зольникова, ты идиотка! За каким чертом надо было тащиться в этот переход? Сказала бы Эдику: «Хочу портрет!» Весь бы Союз художников выстроился в очередь. Нет, все у тебя не по-людски! А зачем ты стала оправдываться перед этим рублевым гением? «Нет у меня никаких тайн и не будет!» Ты бы ему еще про свои эрогенные зоны рассказала! Встань и уматывай! Мол, передумала...»
- «Ни в коем случае! Надо уважать чужой труд. Володя – человек явно талантливый и необычный. Очень даже интересно, что у него получится. А вот про то, что у тебя нет тайн, говорить действительно не следовало. Ты же умная девочка, а ведешь себя иногда будто из пятнадцатой школы. Во-первых, его твои тайны не касаются, а во-вторых, женщина без тайны – это как... это...»

«Как любовь без минета!»

«Господи, как не стыдно!»

– Замолчите обе! – тихо и зло приказала Лидия Николаевна.

– Что вы сказали? – Володя оторвался от листа.

– Нет, я так... сама себе... – смутилась молодая женщина.

– Ясно. «Тихо сам с собою я веду беседу...» – улыбнулся Володя и снова углубился в работу.

Эту странность Лида Зольникова помнила в себе с детства. В ней как бы обитали, оценивая все происходящее, две женщины. Очень разные. Первая была самой настоящей Оторвой, и в разные периоды жизни она говорила разными голосами. В детстве – голосом Люськи Кандалиной, страшной хулиганки, вечно подбивавшей одноклассниц, в том числе и скромную Лидочку, на разные шалости. Брусок мела, пропитанный подсолнечным маслом и подложенный завучу, или мышь, запущенная в выдвижной ящик учительского стола, были ее самыми невинными проделками. После восьмого класса, к всеобщему облегчению, Люська поступила в швейное училище и исчезла из Лидиной жизни. И тогда неугомонная Оторва заговорила голосом Юлечки Вербасовой, переведенной к ним в воспитательных целях из другой школы. Юлечка в свои четырнадцать лет уже болезненно интересовалась мужчинами и однажды заманила подруг в какую-то подвальную музыкальную студию к старым патлатым лабухам. Один из них, выпив, набросился на Лиду и наверняка лишил бы бедную девочку невинности, если бы не ее отчаянные вопли и его огромный тугой живот. В результате первым Лидиным мужчиной стал – что бывает, согласитесь, не так уж и часто – любимый, неповторимый, ненаглядный Сева Ласкин. Хотя, впрочем, ничего хорошего из этого тоже не вышло...

А вот с тех пор как Лида поступила в театральное училище, Оторва стала говорить голосом Нинки Варначевой, однокурсницы и единственной, по сути, подруги. Именно Варначева обращалась к Лиде по фамилии – Зольникова.

Зато Благонамеренная Дама (или просто Дама) всегда, с самого детства, говорила голосом мамы – Татьяны Игоревны, потомственной учительницы, женщины настолько собранной и правильной, что Николай Павлович, покойный Лидин отец, переступая порог дома, сразу чувствовал себя проштрафившимся учеником. Ему-то чаще всех и доставался этот упрек: «Ну прямо из пятнадцатой школы!» Он страшно обижался и переживал, потому что в 15-й школе учились умственно неполноценные дети. Кстати, когда Лида, вдохновленная победой в городском конкурсе красоты, объявила матери, что едет в Москву сдавать экзамены в театральное училище, расстроенная Татьяна Игоревна твердила про 15-ю школу до самого отъезда дочери. Отец на всякий случай помалкивал.

Зато влюбленный в Лиду одноклассник, Дима Колесов, твердо верил в успех задуманного. Он где-то прочитал интервью известного московского режиссера, горько сетовавшего на острую нехватку красивых молодых талантливых актрис, и считал, что именно его подруга восполнит этот бедственный столичный дефицит. Они встречались на тайной скамеечке в зарослях одичавших вишен, и Дима, сорвав неумелый девичий поцелуй, повторял, задыхаясь:

– Ты даже не понимаешь, какая ты красивая! Не понимаешь!

«А ты уверена, что у тебя есть талант?» – поддавшись материнским опасениям, выпытывала Дама.

«Не дрейфь, прорвемся!» – успокаивала Оторва.

Два эти голоса – Оторва и Дама – вели меж собой постоянный спор, доказывая каждая свою правоту, а Лиде оставалось только делать выбор, что было непросто. Узнав о благополучном поступлении дочери (Лида очень понравилась принимавшему экзамены Баталову), Татьяна Игоревна была крайне удивлена и вместо поздравлений зачем-то стала по телефону рассказывать дочери про то, что Колесов с треском провалился в институт и теперь Димина мамаша с ней не здоровается, так как убеждена: сын не поступил, потому что голова у него

была забита несвоевременными любовными глупостями. Зато Николай Павлович, игравший когда-то в студенческом театре, пришел в неопиcуемый восторг. Родители часто оставляют детям в наследство свои неосуществленные мечты. И напрасно.

Через полчаса художники, побросав клиентов, сгрудились вокруг почти окончeнного портрета.

– Ну и гад же ты, Лихарев! – восхищенно вздыхал псевдо-Сезанн.

Володя, поблeдневший и весь покрытый испариной, тихо распорядился:

– Лак!

Ему тут же подали баллончик с надписью «Прелесть». Он выпустил коническое облачко, и в воздухе запахло парикмахерской.

– А это зачем? – спросила Лидия Николаевна.

– Чтобы рисунок не стерся со временем, его надо зафиксировать.

– А почему лаком для волос?

– Для красоты. Хотите взглянуть?

– Конечно хочу!

Володя еще раз внимательно посмотрел на рисунок и медленно повернул папку. Несколько минут Лидия Николаевна вглядывалась в лицо, живущее на бумаге. Сходство художник схватил изумительно, причем сходство это было словно соткано из бесчисленных, нервно переплетенных линий. Казалось, линии чуть заметно колеблются и трепещут на бумаге. Но больше всего поразило ее выражение нарисованного лица, исполненное какой-то печальной женской неуверенности, точнее сказать – ненадежности.

– Непохоже? – улыбнулся Володя.

– Похоже... Разве я такая?

– Да, такая. Я вас предупреждал. Давайте лучше я оставлю рисунок у себя!

«Пусть оставит у себя!» – маминым голосом посоветовала Дама.

«Щас! Может, этот Володя потом прославится. И будешь рвать на себе волосы эпилятором! Забери, но от Эдика спрячь...» – распорядилась Оторва.

– Костя, возьмите портрет! – приказала Лидия Николаевна. – Сколько с меня?

– А сколько не жалко! – Художник изобразил дурашливый лакейский поклон.

– Костя, заплатите пятьсот долларов!

Подземные художники, услышав сумму, зароптали.

– Ско-олько? – опешил телохранитель. – Лидия Николаевна, да у них тут красная цена – пятьсот рублей! За свой я вообще двести отдал! – И он показал хозяйке лист, с которого гордо смотрел супермен-красавец с эстетично травмированным носом.

– Делайте, что вам говорят!

– Тогда вместе с папкой давай! – скрипучим голосом приказал охранник, протягивая художнику деньги.

Тот взял и глянул на богатейку с грустным лукавством, будто заранее извиняясь за какой-то не очевидный до поры подвох.

– Лидия Николаевна, – улыбнулся Володя, аккуратно уложив доллары в напоясную сумочку. – Я пошутил про тайну...

– Зачем?

– Просто так...

Выйдя из подземного перехода на раскаленную московскую поверхность, женщина остановилась.

– Забыли что-нибудь? – спросил телохранитель.

– Костя, – колебавшись, сказала она, – я хочу попросить вас об одной услуге!

– На то и приставлены.

- Не надо рассказывать Эдуарду Викторовичу про этот портрет!
- Почему?
- Потому. Возьмите себе пятьсот долларов – и пусть это останется между нами.
- А инструкция?
- Что вам важнее: инструкция или моя просьба?
- Ладно, не скажу...

«Мерседес» с синеватым рыбьим отливом медленно тронулся, пересек сплошную разметку и, свернув направо, исчез в тоннеле. На его место, видимо, сбитый с толку, тут же пристал обшарпанный «жигуль» с калужскими номерами. Постовой радостно встрепенулся и хозяйственной поступью направился к простодушному нарушителю.

2

Две дамы, закутанные в белые махровые халаты, сидели в плетеных креслах у края бассейна с минеральной водой, доставляемой в Москву из Цхалтубо специальными цистернами. На столике перед ними стояли высокие бокалы с черно-красным, как венозная кровь, свежесжатым гранатовым соком. На головах у женщин были тюрбаны, а лица светились той младенческой свежестью, которую сообщают коже целебные косметические маски, стоящие бешеных денег.

Одна из них, уже известная нам Лидия Николаевна, улыбаясь, слушала подругу.

– Ты представляешь, Рустам просто очертенел от ревности! Отобрал у меня мобильник.

– А телефон-то зачем отобрал?

– Зольникова, ты действительно не понимаешь или прикидываешься?

– Не понимаю.

– Рустамке рассказали, как одному банкиру жена изменяла. С помощью мобильного.

– Как это?

– А вот так это! Он ее запер от греха, а она что придумала! Договорилась с любовником, тот ей звонил, ну и...

– Что «ну и...»?

– У тебя в голове мозги или тормозная жидкость? Телефон-то с вибровонком! Ясно?

– Да ну тебя! Вечно ты...

– Вечно не вечно, а телефон Рустамка у меня отобрал. Просто какой-то горный Отелло!

Слушай, а Эдик ревнивый?

– Конечно.

– Слушай, неужели ты ему еще ни разу не изменила?

– Зачем?

– Вот и я каждый раз думаю: зачем? У нас во дворе были качели. С них одна девчонка упала и разбилась. Об асфальт. Мама мне запрещала к ним близко подходить. А я все равно качалась – тайком. Потом шла домой и думала: зачем? Ничего не меняется – все как в детстве. Только качели разные...

– Смотри не расшибись!

– Это ты, Зольникова, смотри не расшибись! С Мишенькой...

– Что?

– Ой, только перед подругой не надо! И он тебе нравится. Я-то вижу!

– Ну и что, если нравится? Иногда попадаются интересные мужчины. Смотришь и думаешь: если бы у меня была еще одна жизнь, то, возможно, я провела бы эту жизнь с ним.

– А если смотаться на недельку в ту, другую жизнь – и назад. Как?

– Нет, я так не умею. Но даже если бы умела... Нет! Эдик сразу догадается.

– Дура ты, Зольникова! Ни у одного Штирлица не бывает таких честных глаз, как у гульнувшей бабы! В Библии так и написано: не отыскать следа птицы в небе, змеи на камнях и мужчины в женщине...

– В Библии? И давно ты читаешь Библию?

– Ну ты спросила! Я что, старуха? Я в Марбелле с одним журналистом познакомилась. Отличный парень. Бисексуал. Он про церковь разоблачительные статьи пишет. Библию наизусть знает. В этом году опять туда приедет. Ты-то собираешься?

– Не знаю. Я еще Эдику ничего не говорила.

– Давай я скажу?

– Не надо, я сама. Плавать пойдем?

– Не хочется.

– А мне хочется.

Лидия Николаевна встала, размотала тюрбан, сбросила халат и потянулась с той откровенностью, какую могут себе позволить только женщины, одаренные безупречной наготой. Нинка посмотрела на подругу с завистливым восхищением.

– А подмышки чего не бреешь? Опять, что ли, модно?

– Просто забыла. – Она пожала голливудскими плечами, с разбега нырнула в минеральную синеву и поплыла под водой.

«Будь осторожна! – предупредила Дама. – Если это уже заметила Нина, скоро заметят все!»

«А что они заметят? Баба должна нравиться мужикам, – вмешалась Оторва. – Пусть Эдик тоже немного подергается, а то, понимаешь, купил себе рабыню Изауру. Как он тебя еще к гинекологу отпускает?»

Лидия Николаевна плыла, радостно одолевая тяжелую нежность сопротивляющейся воды. Она наслаждалась своим молодым, свежим и сильным телом. Но в этом монолитном телесном счастье брезжила какая-то тайная, мучающая ее трещинка. И чем полноценнее была радость плоти, тем болезненнее ощущалась эта внутренняя тоска.

Когда она подплыла к краю бассейна, Нинка протянула ей мобильник:

– Майкл!

– Меня нет...

– А где ты?

– Не знаю.

– Ну и дура! – покачала головой Нинка и сообщила в трубку: – Сэр, интересующая вас дама в душе. Примите искренние соболезнования. А я не могу заменить вам ее хотя бы частично? Очень жаль! До свидания!

– Чего он хотел? – вытираясь пушистым полотенцем, спросила Лидия Николаевна.

– Тебя.

– А почему звонил тебе?

– Потому что он настоящий джентльмен и заботится о репутации замужней женщины. О таком любовнике, Зольникова, можно только мечтать!

– Нет, он просто знает, что Эд смотрит распечатки моих разговоров, и боится.

– Слушай, я давно тебя хотела спросить, кто лучше: Эдик или Сева?

– В каком смысле?

– В том смысле, от которого сливки скисли! – захохотала Варначева.

– А разве это можно сравнивать?

– Или! Мужики-то нас все время сравнивают. Только тем и занимаются.

– Не знаю, в голову не приходило.

– Врешь, Зольникова!

Одеваясь, Лидия Николаевна вдруг вообразила себя в постели с мужчиной, который странным образом был одновременно и Севой Ласкиным, и Эдиком, и еще немножко Майклом Стар ком...

«Ужас!» – истерично крикнула Дама.

«Да брось ты! Ничего страшного, – успокоила Оторва. – Женщины почти никогда не осуществляют своих сексуальных фантазий!»

«Откуда ты знаешь?»

«В книжках написано!»

3

Как обычно, к вечеру съезд с Окружной на Рублевку был забит машинами. К застрявшему в пробке «мерседесу» подбежал чернявый оборвыш и грязной тряпкой принялся протирать чуть запылившееся боковое зеркало. Костя ругнулся, нажал кнопку – темное стекло уехало вниз, и перед мальчонкой возникло страшное лицо с перебитым носом. На мгновение ребенок от ужаса замер, а потом пискнул, как мышь, и бросился наутек.

– Костя, ну зачем вы так? – упрекнула Лидия Николаевна. – Он же маленький!

– Подождите, вырастет! Лет через десять эти хохлоазеры всем покажут!

– Кто покажет?

– Хохлоазеры.

– Какие еще хохлоазеры? Откуда они возьмутся?

– Уже взялись. На рынках кто торгует? Хохлушки. А хозяева у них кто? Азербайджанцы. Сами понимаете, чем они там по вечерам в своих контейнерах занимаются. Бабы жалостливые: рожают. А дети потом, как крысята, бегают. Москва для них – большая помойка. Мы – враги. Одного гаденыша поймали – гвоздь в тряпку спрятал и вроде как пыль с машин стирал. Одно слово – хохлоазеры!

– Замолчите! – Лидия Николаевна посмотрела в окно и увидела все того же оборвыша, с показной старательностью драившего стекла «БМВ». – Пойдите и дайте ему денег!

– Не пойду.

– Почему?

– Он меня не подпустит.

– Леша, выйди и дай ему сто рублей.

Водитель хмыкнул, вылез из машины, подкрался к мальчику и ловко схватил за шиворот. Ребенок сжался, словно ожидая удара. Получив вместо тумака деньги, он посмотрел на странный «мерседес» с угрюмым любопытством и спрятал купюру в карман. В это время пробка пришла в движение, стоявшие сзади машины нервно засигналили, и Леша бегом вернулся к рулю.

– Зря вы это, Лидия Николаевна, – проворчал он, трогаясь. – Все равно пахану отдаст.

Вырулили на извилистое ухоженное Рублевское шоссе, стиснутое соснами и особняками. Здесь даже асфальт был ровнее и покойнее, чем в Москве. Казалось, к искусственной кондиционерной прохладе, заполнявшей автомобиль, прибавился запах живой хвои. Зазвонил мобильный телефон. Это был муж.

– Ты где? – спросил Эдуард Викторович.

– Уже на Рублевке. Скоро приедем.

– Я жду тебя.

Лидия Николаевна за три года брака успела хорошо изучить своего повелителя и знала: слова «Я жду тебя» вместо «Я тебя жду» означают, что он чем-то недоволен.

Она даже и не мечтала стать женой миллионера. К зависти Нинки, Лида собиралась замуж за их однокурсника, необыкновенно талантливого актера Севу Ласкина, которому преподаватели прочили славу второго Смоктуновского. Чем-то Сева был похож на этого художника... Володю Лихарева. И волосы тоже стягивал косичкой. В дипломном спектакле он сыграл Несчастливцева – и все просто рыдали от восторга.

Сева происходил из интеллигентного московского клана, известного большими революционными заслугами: во время нэпа его прадед был заместителем председателя Концессионного комитета. Но Ласкин рано лишился отца, считавшегося в роду мечтательным неудачником, и жил в коммуналке с вечно хворавшей матерью. Однажды он повел невесту на день рождения к своему двоюродному брату, и Лида долго не могла оправиться от увиденного. Она

даже не представляла себе, что бывают такие огромные квартиры, заставленные и завешанные музейным антиквариатом. Богатые родственники, тем не менее, относились к бедному Севе с трогательной заботой и гордились его грядущей актерской славой.

Лида, принятая вместе с Ласкиным в один академический театр, уже готовила себя к трудной, но почетной роли возлюбленной помощницы гения, но буквально на первой же репетиции гордый Сева, осерчав на какое-то справедливое замечание, поссорился с главрежем – безусловным классиком и живой легендой сопротивления коммунистическому произволу в области искусства. Впрочем, это не помешало живой легенде нахватать при советской власти кучу орденов и премий, включая Ленинскую. Ласкин заявил классика, что он, «старый брехтозавр», не умеет даже толком поставить актеру задачу. Главреж, конечно, не простил – и Севы попросту не стало. Нет, он, разумеется, жил, ходил на собрания труппы, готовился к свадьбе – и в то же время его не было, во всяком случае для театральной общественности, еще недавно носившей его на руках.

– Видите ли, Лидочка, – объяснила огорченной невесте одна известная театроведша, прокурная, как старая боцманская трубка. – В Москве есть три телефонных номера. Всего три. Позвонив по ним, можно сделать актера знаменитым, но можно и уничтожить. Навсегда.

– А талант?

– Талант как взятка. Нужно еще уметь всучить...

Севу пытались спасти. Богатые родственники, имевшие с главрежем каких-то общих витебских предков, умоляли простить неразумного мальчика, и тот вроде бы уже начал смягчаться, но тут Сева, в жилах которого кипела неугомонная революционная кровь, попытался поднять в театре мятеж и оказался на улице. Мать, не выдержав позора, умерла от инфаркта. Ласкин сорвался – запил, потом сел на иглу и превратился в высохшего неврастеника, живущего от дозы до дозы.

Лида сначала боролась за него, водила по врачам, нянчила во время ломок и даже обрадовалась, обнаружив, что беременна. Ей казалось, что, узнав про будущего ребенка, Сева изменится, соберется с силами и выздоровеет.

«Какая ты молодец! – старательно подхваливала ее Дама. – Надо бороться за любимого до последнего!»

«Ага, до последней нервной клетки! – ругалась Оторва. – Брось его! Спасать пропащего – самой пропасть...»

Но Сева отнесся к своему грядущему отцовству с тупым безразличием умирающего. В конце концов, застав Ласкина в постели с какой-то изможденной наркоманкой, Лида поняла бесполезность этой борьбы и сделала аборт, хотя врач, ссылаясь на критический срок, всячески ее отговаривал и предупреждал о последствиях.

«Ты убила человека!» – вопила Дама.

«Правильно! – успокаивала Оторва. – Нечего безотцовщину разводить!»

Потом вдруг из Иерусалима приехала Севина дальняя родственница, объявила, что в Земле обетованной, в отличие от этой дикой России, наркомания лечится, и увезла его с собой. Там Ласкина действительно вылечили, он пошел в армию и обезвредил арабского террориста. Об этом даже сюжет по НТВ показывали: в кадре Сева улыбался и обнимал пышноволосую, одетую в военную форму израильтянку – свою жену. Лида проплакала всю ночь, а через несколько дней с отвращением переспала с известным актером, давно и безрезультатно ее домогавшимся. Но когда вскоре он появился к ней в театральное общежитие и, памятно улыбаясь, выставил на стол бутылку молдавской «Лидии», Зольникова его попросту выгнала.

«Молодец!» – похвалила Дама, решительно не одобрявшая этот постельный проступок.

«Ну и хрен с ним, – поддержала Оторва. – Все равно он жадный и противный!»

Из театра Лида вскоре ушла, вовремя поняв, что, щедро укомплектовав ее безукоризненной фигурой и милой мордашкой, скарденная природа явно сэкономила на драматическом

таланте. Два года она подрабатывала на третьестепенных ролях в сериалах и рекламе. Один ролик даже пользовался популярностью. Лида изображала спящую в хрустальном гробу мертвую царевну. К ней подкрадывался смазливый королевич Елисей и нежно целовал в губы, но летаргическая дева продолжала спать, как говорится, без задних ног. Тогда королевич доставал из-за пазухи упаковку жевательной резинки «Суперфрут. Тройная свежесть», отправлял в рот сразу две пластинки и, старательно поработав челюстями, снова лобзал царевну. Та, конечно, тут же открывала глаза и томно спрашивала: «Где я?» В ответ счастливый Елисей угощал Лиду чудодейственной жвачкой и пристраивался рядом с ней в хрустальном гробике.

Личной жизни после катастрофы с Ласкиным у нее почти не было. От безрассудной женской неумности Господь ее оберег, а к тому, что Варначева называла «мужеловством», она всегда относилась с презрением и только отшучивалась, когда прокуренная театроведша сокрушалась при встрече:

– Лидочка, вы же красotka! Вам выпал счастливый лотерейный билет, а вы используете его как книжную закладку! В Москве есть серьезные мужчины, которые могут ради вас позвонить по всем трем телефонам. Помните, я вам объясняла? Не теряйте времени! У женской красоты срок годности недолгий, как у йогуртов.

Неожиданно налетела загорелая, взвинченная очередным курортным романом Нинка и сообщила, что в средиземноморском круизе познакомилась с режиссером, уже почти нашедшим деньги на экранизацию бальзаковских «Озорных рассказов».

– Они же неприличные! – засомневалась Лида.

– Деньги зато приличные! Блин, такое впечатление, что ты монастырскую школу закончила. Тогда возвращайся в свой Степногоorsk и не морочь людям голову!

– Голой я сниматься не буду!

– Кому ты нужна голая? Это мягкая эротика. Ну, очень мягкая... Режиссер – голубой. У него из осветителей гарем. Не волнуйся!

Пробы прошли на ура, в толпе длинноногих соискательниц Лиду заметили сразу, и постановщик оглядывал молодую актрису с восторгом антиквара, за копейки купившего на толкучке яйцо Фаберже. После кастинга к ней подошел невысокий узколицый мужчина лет сорока, чем-то похожий на вечно не выпавшегося бухгалтера, который в театре выдавал актерам их нищенскую зарплату. Но по тому, как он вел себя, становилось ясно: этот человек имеет дело с совсем другими, огромными деньгами. И не чужими, а своими собственными. У него были странные глаза: умные, грустные и блекло-прозрачные, как водяные знаки на купюрах.

– Меня зовут Эдуард Викторович, – представился он и добавил строго: – Я приглашаю вас поужинать со мной.

– Спасибо, но я не ужинаю. Мне нужно держать форму.

– Вы это серьезно?

– Абсолютно.

– Ну как знаете... – Он посмотрел на Лиду с суровым недоумением и добавил, намекая на тот дурацкий рекламный ролик: – Вероятно, вы еще не проснулись!

– Разбудить некому! – с вызовом ответила она.

«Правильно, Лидочка!» – восхищенно прошептала Дама.

«Зольникова, ты идиотка!» – констатировала Оторва.

– Ты чем думаешь: головой или выменем? – возмущалась, узнав о случившемся, Нинка. – Это же он финансирует весь проект! И знаешь, ради чего?

– Ради чего?

– Подругу ищет. У него недавно любовница на машине разбилась.

– Откуда ты знаешь?

– От верблюда! Ты что читаешь?

– Сейчас – Чехова.

– Ох и навернешься ты когда-нибудь со своего мезонина мордой в грязь! Читай лучше «Московский комсомолец» – и все будешь знать. Завтра тебя поблагодарят за участие в кастинге и дадут пенделя по твоей идеальной заднице, весталка ты хренова!

– Ну и пусть.

Однако, к всеобщему изумлению, роль Лиде дали, но не главную, как хотели вначале, а эпизодическую – служанки, охраняющей покой своей блудливой госпожи, которую играла, естественно, Нинка.

Фильм снимали в Крыму. Пока летели в самолете, Варначева, набитая всевозможной информацией, как щука фаршем, выболтала Лиде все, что знала об Эдуарде Викторовиче. В той прежней, уравнильной до тошноты жизни он был каким-то занюханным инженером-системщиком с единственным выходным костюмом и полунакопленным взносом за кооперативную квартиру. Потом, когда все стало можно, организовал страховую фирму «Оберег», а затем очень удачно поучаствовал в общеизвестной финансовой пирамиде, но вовремя соскочил и купил целый порт.

– Какой порт?

– Тебе-то что? Или ты к нему грузчицей хочешь устроиться?

– Не хочу.

– Женат, между прочим. Трое детей. Недавно его супружницу в «Женских историях» показывали. Обрыдаешься: вместе учились, носил за ней портфель. Впервые поцеловались на выпускном вечере. Нет, представляешь? Я после выпускного первый аборт сделала. Детей любит до потери самосознания! В общем, образцовый семьянин.

– Какой же он образцовый, если у него любовница была?

– Нет, ты точно дура в собственном соку! Мужчина становится образцовым семьянином только тогда, когда заводит любовницу. До этого он просто зануда и производитель грязного белья!

– Значит, я правильно сделала, что никуда с ним не пошла, – сказала Лида и уткнулась в иллюминатор.

Внизу светилося море, похожее сверху на зеленоватую фольгу, сначала скомканную, а потом неровно разглаженную и расстеленную до самого горизонта.

На фильм было отпущено всего двадцать съемочных дней. Лудили почти без дублей и репетиций – чуть ли не с листа. Свет дольше устанавливали. Нинку через неделю чуть не выгнали за то, что все время забывала текст и строила глазки одному из осветителей. Режиссер оказался визгливым садистом и матерщинником. Вежливым и подобострастным он становился лишь тогда, когда на съемочной площадке внезапно, без предупреждения возникал Эдуард Викторович. Он совсем недолго смотрел на происходящее своими грустными бесцветными глазами, равнодушно кивал замершему от благоговения постановщику и исчезал так же внезапно, как и появлялся. Поговаривали, будто он прилетает из Москвы на собственном аэроплане.

День ото дня на площадке становилось все меньше Бальзака и все больше пропеченной крымским солнцем женской голизны. Но раздевались в основном Нинка и стареющая кинобарышня с силиконовыми бивнями вместо бюста, да еще молоденькие потаскушки из симферопольского кордебалета, каждый вечер уезжавшие куда-то в компании коротко остриженных местных авторитетов.

Однако дошла очередь и до Лиды. В фильме имелся эпизод, по просьбе режиссера приспособленный к Бальзаку сценаристом – угрюмым алкоголиком, весь съемочный период пребывавшим в состоянии вменяемого запоя. Когда требовалось что-то досочинить, за ним посылали в гостиницу, он появлялся, распространяя окрест алкогольное марево, и слушал указания постановщика с таким выражением лица, словно давно уже задумал убить этого кинотирана

и только выбирает подходящий момент. Тем не менее на следующий день заказанный эпизод был уже написан и разыгрывался актерами под истерические крики режиссера.

Сцена, выпавшая на долю Лиде, поначалу не содержала в себе ничего предосудительного: служанка с корзиной белья шла к речке – полоскать, а ее подкарауливал ненасытный барон, не удовлетворенный любвеобильной госпожой. Далее сластолюбец набрасывался на несчастную девушку, но на шум прибежала баронесса и била изменщика древком алебарды.

– Откуда у нее алебарда? – попытался соблюсти историческую достоверность сценарист.

– Не твое дело, пьяная морда! – свернул творческую дискуссию постановщик. – По местам!

И вдруг, когда установили свет, режиссер, заглянув в глазок камеры, крикнул не «Мотор», а совсем другое: «Зольникова, раздевайся!»

– Как – раздеваться? – опешила она.

– Совсем.

– Но этого нет в сценарии!

– Сценарий нужен, чтобы на нем колбасу резать! А я кино снимаю! – заорал постановщик. – Это в советском кино бабы все время стирают. А у меня ты будешь купаться! Голой!

– Не буду!

– Еще как будешь! Раздевайся, к растакой-то матери! Выгоню!

Лида посмотрела на замершую в ожидании группу, надеясь увидеть похотливое предвкушение мужской половины и мстительное торжество женской. Но увидела только деловитое неудовольствие по поводу ее неуместного здесь, на производстве, упрямства.

«Раздевайся, ненормальная!» – приказала Оторва.

«В воде... Один раз... Наверное, все-таки можно... – замямила Дама. – Помнишь, «Купание Дианы» Коро?»

«Да и черт с вами, смотрите!» – решила Лида и начала расшнуровывать бутафорский корсет из дурно пахнущего кожаменителя. Но тут за большим камнем она увидела Эдуарда Викторовича. Он смотрел на нее с насмешливым сочувствием и ждал, болезненно сжав губы.

– А идите вы сами к распротакой матери! – крикнула Лида, заплакала, содрогнувшись от собственной грубости, и убежала – собирать вещи.

Нинка пыталась ее отговаривать – бесполезно. Она вспоминала насмешливый взгляд миллионера, дрожала от омерзения и с размаху швыряла в чемодан свои немногочисленные тряпки.

«Правильно! Уезжай из этого вертепа!» – поддерживала Дама.

«Пожалеешь!» – предостерегала Оторва.

– Зольникова, вернись! – кричала вслед Варначева. – Они передумали: обойдутся без твоей задницы!

На полпути к аэропорту дребезжащее такси обогнала и перегородила дорогу красная спортивная машина. Из нее легко выпрыгнул Эдуард Викторович.

– Лидия Николаевна, можно вас на минуточку?!

– В чем дело? – Она вышла из такси и только сейчас заметила, что выше его чуть ли не на голову. – Я не вернусь!

– И не надо. Я хочу сказать, что вы поступили правильно. Нагота, которую видят все, омерзительна и недостойна. А режиссер просто хам, и фильма не будет.

– Как это не будет?

– Обыкновенно. Я закрыл проект. Мне не понравилось, что он сделал из Бальзака.

– А как же все?

– Не переживайте, им заплатят. Можно, я вам позвоню?

– У вас не получится.

– Почему?

- Потому что у меня нет телефона. Я снимаю квартиру без телефона. Так дешевле.
- Я все равно вам позвоню! – улыбнулся Эдуард Викторович.

Она удивилась, что у него не белая челюсть, которой торопятся обзавестись все новые русские, а желтоватые неровные зубы, чуть вогнутые внутрь, как у хищных рыб.

Был конец сезона, да еще какие-то перебои с керосином. Лида смогла улететь только под утро. Когда вечером она добралась до своей квартиры, то увидела в прихожей на тумбочке новенький мобильник. Вскоре он зазвонил, и знакомый голос произнес:

– Доброе утро! Я вас не разбудил?

– Нет. Я уже встала.

– Лидия Николаевна, Петер Штайн привез в Москву Еврипида. Не соблаговолите ли принять мое приглашение на спектакль?

– Соблаговолю, – засмеялась она.

– Почему вы смеетесь?

– Слово хорошее – «соблаговолите».

– Я знаю много таких слов. Поверьте!

Она поверила. Ухаживал Эдуард Викторович вдумчиво и изобретательно. Нет, он не обрушивал на нее всю мощь своего немислимого богатства, а напротив, приобщал ее к нему потихоньку, точно исподволь, ненавязчиво балуя милыми услугами, сюрпризами или необходимыми подарками, вроде того же телефона или нового платья, без которого ну никак нельзя показаться на загородном коктейле у знакомого банкира. Лишь потом она узнала от опытной Нинки, что наряд этот стоит столько же, сколько автомобиль.

– Ну и как он в постельном приближении? – спрашивала сгоравшая от любопытства Варначева.

– Не знаю. До этого еще не дошло.

– Правильно, прежде чем раскинуть ноги, надо пораскинуть мозгами. Проси квартиру и машину. Я тут видела на улице миленький розовый «мерсик». Я бы за такой, Лидка, черту лысому отдалась! Век оргазма не видать! Он тебе хоть нравится?

– Не знаю.

– Но хоть не противно с ним?

– Не противно, – нахмурилась Лида.

– Ну ты, сучка болотная! Нашла миллионера, с которым не противно, и еще рожу в гармошку складываешь! Держись за него обеими руками и ногами, а то уведут.

– Никуда он не денется.

– Ого! Тогда подумай: мартель-мотель-постель – это одно. А любовь-морковь с такими мужиками – совсем другое. Собственники! Может, нам с тобой, подруга, подштопать?

– Что?

– А что слышала! Тут за мной один горный баран, по кличке Рустам, увивается. Замуж зовет. Богатый. Конечно, не такой промиллионенный, как твой, но это даже лучше. Спокойнее. Ну, сама посуди, хорошая итальянская фата стоит тысячи две баксов. А вновь обретенная невинность в клинике «Гименей-плюс» – штука. Постоянным клиенткам скидка. Давай, подруга, за компанию! А? И в загс с новой плевой! Плевое дело!

– Нин, у тебя как с головой?

– С головой лучше, чем с девственностью. Ладно, сама знаю: мой не поверит. Мне надо другую версию отработать. Что-то вроде мучительных проб и роковых ошибок. А тебе поверит, фригидочка ты моя недоцелованная!

Этот дурацкий разговор Лида вспомнила, когда после самого первого раза, случившегося на круглой кровати в дорожном отеле на Лазурном Берегу, она лежала и по дыханию пыталась определить, спит ли Эдуард Викторович. Они оба знали, зачем летят всего на одну ночь в

Ниццу. Беспостельный этап их романа затянулся настолько, что стал уже напоминать какую-то особенно изощренную и пустую эротическую игру.

«Хватит ломаться!» – давно уже твердила Оторва.

«Ты же его не любишь!» – предупреждала Дама.

«Ласкина ты любила. Ну и что вышло?» – настаивала Оторва.

«Отдаться за деньги! Это же отвратительно!» – не унималась Дама.

«Что значит – отдаться? Считай, что вступаешь в деловые отношения. Каждый вкладывает в дело то, что имеет. Он – деньги. Ты – себя. Вот и все...»

«Какая гадость!»

«Я тебя когда-нибудь удавлю, ханжа! – орала Оторва. – Это самое невинное из того, что люди делают за деньги! Решайся, Зольникова!»

И она решилась. Любовником он оказался тщательным и всю ночь с бухгалтерской дотошностью до самых мелочей оприходовал Лидино тело.

– Тебе было плохо? – спросил Эдуард Викторович, выкурив сигарету.

– Почему вы так решили?

– Ты! Говори мне: ты! Не решил, а почувствовал...

– Вы... Ты неправильно почувствовал. Просто у меня совсем маленький опыт. И, наверное, я не успела стать настоящей женщиной.

– Опыт, – поморщился он. – Или любовь?

– Мог бы и не спрашивать. Без любви я этого никогда не делала, – соврала она.

– Дождался все-таки!

– Чего дождался?

– Наконец и ты призналась мне в любви. Неужели я тебя разбудил?

– Я? – удивилась Лида и спохватилась: – Конечно, а как же иначе! Я собиралась замуж.

Но он заболел, а потом уехал. Понимаешь?

– Не надо мне ничего говорить про твоего артиста. Но ты даже не представляешь, сколько бы я заплатил, чтобы у тебя не было опыта. Никакого! Жаль, что за деньги нельзя купить прошлое и уничтожить его.

– А будущее можно купить за деньги?

– Конечно! Настоящее и будущее. Иди ко мне!

Потом он, кажется, уснул, а Лида, замученная им до тупой трудовой усталости, лежала и думала о том, что мужчины относятся к прошлому совсем иначе, чем женщины, и что не такие уж сумасбродки эти постоянные клиентки, многоразовые девственницы, получающие скидку в клинике «Гименей-плюс».

4

«Мерседес» с рыбьим отливом свернул с Рублевки в лес, проехал метров триста по дорожке, вымощенной темно-красной брусчаткой, и остановился перед большими бронированными воротами. На высоком кирпичном заборе были установлены видеокамеры, похожие на хищных птиц, неторопливо выслеживающих добычу. Через минуту ворота медленно отъехали в сторону, и открылся настоящий английский парк с большим викторианским особняком в глубине. Охранники, одетые в черную форму и вооруженные помповыми ружьями, отдали хозяйке честь.

Возле искусственного грота стояла косуля и смотрела на приехавших со спокойным любопытством – так кошки смотрят на воротившихся домой хозяев.

Лидия Николаевна взбежала по широкой лестнице, украшенной львами. В огромном холле, отделанном черным деревом, у горящего камина в глубоком кожаном кресле сидел Эдуард Викторович и разглядывал портрет жены.

– Добрый вечер, Эд! – сказала она.

– Добрый вечер, Ли! – отозвался он.

Он начал звать ее так наутро после той первой ночи на Лазурном Берегу и попросил, чтобы она называла его Эдом. Ей стало смешно, но она не решилась возражать, а потом как-то привыкла. Эдуард Викторович оказался страшным англоманом. Его дети от первого брака учились в Оксфорде. В Брайтоне он содержал большой дом в колониальном стиле – окнами на море, и когда летал проводить детей, останавливался там. Любимой его книгой была «Сага о Форсайтах», он перечитывал ее постоянно и каждый раз страшно переживал за Сомса, обманутого женой.

– Послушай, Ли, а почему ты мне ничего не сказала про этот портрет? – спросил он и внимательно посмотрел на нее.

– Я хотела сделать тебе подарок ко дню рождения! – нашла она. – А Костя проболтался...

– Нет, не Костя. И я его накажу! Я узнал от водителя. Почему ты не объяснила, что хочешь портрет? Я бы заказал у какой-нибудь знаменитости. У этого... со странным именем и обычной фамилией...

– У Никаса Софронова?

– Ну да.

– Прости, Эд! Но я не хотела никакого портрета... Просто ехала за покупками и вдруг вспомнила, как бегала по этому переходу и каждый раз думала: вот когда-нибудь и меня нарисуют. Я не знала, что это тебя обидит!

– Тебе нравится портрет?

– Да, по-моему, художник очень талантлив.

– И поэтому ты спрятала рисунок от меня?

– Я же объяснила, Эд...

– Не надо обманывать! Ты не поэтому спрятала портрет.

– Почему же?

– Потому что эта женщина, – он ткнул пальцем в рисунок, – меня не любит!

– Эд! Что ты говоришь?

– Говорю то, что вижу. Не любит. Эта женщина вообще никого не любит!

– Неправда!

– Что именно – неправда?

– Все – неправда.

– Надеюсь. Иди переоденься к ужину! Постой! Ли, если мы, даже мы, начнем друг друга обманывать, тогда все бессмысленно. Все! Иди и подумай об этом хорошенько!

Лидия Николаевна по резной дубовой лестнице поднялась в свою комнату. Нижний ящик большого антикварного комода, где она прятала портрет, был выдвинут. Прежде Эдуард Викторович никогда не рылся в ее вещах. Переодеваясь к ужину, она думала о том, что с тех пор, как в их жизни появился этот американец Майкл Старк, многое изменилось – и далеко не к лучшему.

Впрочем, неприятности начались раньше. В 98-м из-за дефолта муж потерял свой банк «Золотой кредит», а позже и страховую компанию «Оберег». Тогда резко сократились морские перевозки, и, чтобы сохранить порт, он продал часть акций Майклу, до этого занимавшемуся поставкой в Россию автомобилей «Крайслер». Лидия Николаевна впервые увидела Старка на приеме, устроенном в рублевском имении по случаю дня рождения мужа.

Все было как обычно: подъезжали дорогие машины, гости вносили увитые лентами коробки с подарками и букеты, которые своими чудовищными размерами, надо полагать, соответствовали степени уважения к хозяину дома. Гости обнимали Эдуарда Викторовича и отпускали заранее придуманные комплименты его красавице-жене. Взвод вышколенных официантов разносил напитки и легкую закуску. Лидия Николаевна всегда поражалась тому, как буквально за несколько лет на смену общепитовским теткам в несвежих фартуках явились эти рыцари серебряных подносов.

Вечер был продуман до мелочей. Пел вдохновляемый заранее врученным пухлым конвертом знаменитый юный тенор с лицом школьного ябедника. Два депутата-антагониста, прославившихся безобразной дракой в прямом эфире, мило беседовали, чокаясь и похихикивая над доверчивостью избирателей. Популярный прозаик-постмодернист обаятельно шакалил меж гостей в поисках новых связей и впечатлений. Узнаваемый киноактер, старательно напившись, лез целоваться к новорожденному, попеременно величая его то Мамонтовым, то Дягилевым. Он прекрасно понимал, что пьяные слюнявости забудутся, а Мамонтов с Дягилевым западут в память богача.

Майкл опоздал. Лидия Николаевна беседовала с неуморимым героем театрального сопротивления, канючившим у нее деньги на постановку «Конармии». Кони предполагались настоящие. Попрошайничал он с той же изящной настырностью, с какой прежде выцарапывал в ЦК свои премии и награды.

– Ли! – позвал Эдуард Викторович. – Можно тебя на минуту?

Она с облегчением покинула живую легенду и подошла к мужу. Рядом с ним стояли знаменитый зодчий, усеявший Москву этажерчатым новостроем, и высокий темноволосый незнакомец, одетый, как и все, в смокинг. Но если архитектор напоминал сдувшийся дирижабль в морщинистой черной оболочке, к которому для смеха прилепили галстук-бабочку, то на незнакомце костюм сидел так, словно мама в младенчестве надевала на него не распашонки, а крошечные детские смокинги.

– Ли, познакомься! Это Майкл Старк – мой новый компаньон.

– Лидия. – Она протянула ему руку.

– Майкл, – ответил он и обнажил крупные белые зубы дамского хищника. – Можно просто Миша.

Старк преподнес ей совсем небольшой букет, составленный из безумно дорогих тропических цветов. Эдуарду Викторовичу он, как выяснилось, подарил весьма пикантный рисунок Бердслея. Его-то как раз и рассматривал, вздыхая, зодчий, известный не только затейливой пространственной изобретательностью, но и чудовищной скупостью.

– Вы хорошо говорите по-русски, – заметила она, отнимая руку.

– Я русский. Родители уехали из России, когда мне было пять лет. И тогда меня звали Мишей Старковым. Я сын Романа Старкова. Помните?

– Нет, не помню...

– Ну, как же! Знаменитая бессрочная сухая голодовка правозащитников на Красной площади в семьдесят четвертом, – разъяснил присоединившийся к ним режиссер и, завладев ухом Эдуарда Викторовича, увлек миллионера в угол, где принялся расписывать эскадрон конармейцев, который будет гарцевать по зрительному залу. Архитектор подозвал пробежавшего мимо постмодерниста, и они заспорили о том, сколько может стоить бердслеевский рисунок.

Лидия Николаевна и Майкл остались вдвоем.

– И как долго длилась голодовка? – полюбопытствовала она.

– Пять минут, – улыбнулся Майкл. – Отца отправили в психушку. А через год обменяли на советского шпиона.

– Зачем же вы вернулись?

– Как зачем? Делать деньги.

– А в Америке разве нельзя делать деньги?

– Можно. Но там все делают деньги. Конкуренция...

– А в России нет конкуренции?

– Нет.

– Почему?

– Потому что в России нет бизнеса. Только нажива. Вы, кажется, актриса?

– Да, была актрисой. Теперь просто жена.

– Вы не можете быть просто женой.

– Почему же?

– Вы для этого слишком красивы!

Говоря это, Старков смотрел на нее с таким откровенным вождением, что Лидия Николаевна смутилась.

Вернулся муж. Судя по недовольному выражению лица, живой легенде все-таки удалось выпросить у него денег.

– Майкл, – внимательно глянув на жену, сказал Эдуард Викторович, – пойдемте, я познакомлю вас с министром транспорта, пока он еще не напился...

После десерта смотрели фейерверк, озарявший парк красными, желтыми и зелеными огненными брызгами. Когда в воздухе повисли, сыпля бенгальскими искрами, две четверки (новорожденному стукнуло сорок четыре) и Лидия Николаевна, как и положено любящей жене, нежно прижалась к мужу, она вдруг почувствовала чью-то руку, осторожно глядящую ее распущенные по спине волосы. Она оглянулась и увидела Майкла, улыбавшегося с детским простодушием.

«А он нахал!» – хохотнула Оторва.

«Какая наглость!» – возмутилась Дама.

Лидия Николаевна лишь укоризненно покачала головой.

Вот, собственно, и все. Потом она часто встречалась со Старковым на приемах и пикниках. Он был неизменно вежлив и почтителен, но смотрел на нее так, словно их связывает давняя любовная тайна.

Серебряный колокольчик позвал к ужину. Ели вдвоем, сидя в разных концах длинного стола. Наверное, когда-то, в нищей юности, муж насмотрелся фильмов про аристократов и теперь воплощал свои великосветские фантазии в жизнь. Прислуживал настоящий негр в ливрее. Бедный парень закончил в Москве сельскохозяйственную академию, но в его родной африканской стране случился переворот, президентом стал вождь враждебного племени, и возвращаться на родину было никак нельзя – съедят...

Эдуард Викторович брезгливо ковырял вилкой в тарелке: с недавних пор он стал вегетарианцем и ел исключительно овощи, выращенные в маленькой ферме на краю парка, при-

чем на экологически безупречных удобрениях. Забота о здоровье превратилась у него в ежедневный изматывающий труд. По утрам он бегал по парку, а потом изнурял себя амосовскими упражнениями. За ужином выпивал только бокал выдержанного бордо, очищающего, как его уверяли, кровь. Он даже бросил курить, лишь изредка позволяя себе послеобеденную сигару. Единственное, в чем муж не знал меры, так это в выполнении супружеских обязанностей.

«Каждую ночь? – восхищалась Нинка. – Ну, он у тебя гиперсекс! Даже мой Рустам Кобелинзаде на такое не способен. Счастливая ты баба!»

«А разве в этом счастье, Нин?»

«Не нравишься ты мне, подруга!»

«Я сама себе не нравлюсь...»

«Ты должна ему срочно изменить!»

«Зачем?»

«Как зачем? Измена – от какого слова?»

«Изменять».

«Дура! От слова – «изменяться». Женщина после этого меняется. Моя парикмахерша просто извелась, потом переспала с массажистом и теперь снова мужа любит, как на первом году службы!»

Эдуард Викторович допил чай из тибетских трав, снова внимательно посмотрел на портрет, установленный на каминной полке, и сказал:

– Иди в спальню, Ли! Я скоро приду. Мне нужно посмотреть договора.

– Хорошо. Я буду ждать... Мы куда-нибудь поедем в этом году?

– Я не знаю. В порту неважные дела. А ты поезжай!

– Может быть, я дождусь, когда ты освободишься?

– Боюсь, не скоро. Поезжай с Ниной и Рустамом.

– Ладно, поеду...

– Только помни, что мы обещали друг другу!

И он снова посмотрел на портрет.

Еще бы не помнить!

Любовниками они были почти два года. Эдуард Викторович купил ей квартиру в новом фешенебельном квартале на Зоологической улице и розовый джипик. Он навещал ее два раза в неделю: прибывал часов в семь и убывал ровно в одиннадцать. Возвращаясь из командировки, он обычно заезжал прямо из аэропорта и оставался на ночь. Иногда, очень редко, Эдуард Викторович брал ее с собой в деловые поездки. У него был свой самолет. Когда они приземлялись в пункте назначения, он непременно звонил жене, сообщая: «Сели. Всё в порядке!» – и строго смотрел Лидии Николаевне в глаза. Она в ответ понимающе улыбалась.

Однажды после долгих просьб он взял ее с собой в Северомысск. Порт всегда представлялся ей шумной толчеей загорелых докеров среди огромных бочек и ящиков, обвитых просмоленными канатами. Но она увидела бескрайний причал, заставленный разноцветными, как детские кубики, контейнерами, – их переносили портовые краны, напоминавшие чудовищных размеров лабораторные манипуляторы. Людей почти не было, а грузовые суда смахивали на современные кварталы, прибитые океаном к причалу. Сам же городок, прилегавший к порту, являл печальное зрелище и напоминал ее родной Степногорск: почерневшие длинные бараки, облупившиеся блочные пятиэтажки, лобастая голова Ленина на замусоренной центральной площади и плохо одетые жители, провожавшие кавалькаду начальственных автомобилей хмурыми взглядами.

По возвращении в Москву Лидия Николаевна затосковала. Нет, речь не о сладко изматывающей сердечной тоске, когда каждый час, проведенный без милого, кажется бессмысленно потерянным. Так было у нее с Ласкиным. Она даже могла расплакаться, если назначенная заранее встреча с Севой срывалась или откладывалась. Теперь же Лидия Николаевна страдала от

другого: с некоторых пор она стала ощущать себя всего лишь обязательным пунктом плотного делового расписания Эдуарда Викторовича. А чувствовать себя частью, пусть и очень важной, чужого жизненного распорядка – горько и унижительно.

Заметив ее упадочное настроение, любовник посоветовал вернуться в театр и дал живой легенде денег на «Чайку». Спектакль вышел грандиозный и безумно дорогой. Сцена представляла собой бассейн, заполненный водой, где плавали надувные лодки в форме огромных чаек. У каждого персонажа имелась своя лодка: и у Аркадиной, и у Треплева, и у Тригорина, и у всех остальных. Только у Нины Заречной, которую играла Лида, лодки не было, и она весь спектакль прыгала с одного плавсредства на другое. В этом-то и заключался, как говорится, главный художественный цимес. Щедро оплаченные критики взорвались вулканом восторгов. После третьего спектакля Лида отказалась от роли.

– Почему? – удивился Эдуард Викторович. – Всем так нравится!

– Я – чайка? Нет, не то... – усмехнулась она.

Однажды он заночевал у нее после командировки, а когда утром зашел на кухню, Лида смотрела в окно.

– Что-нибудь интересное?

– Нет, все как обычно. Время содержанок.

– О чем ты, Ли?

– О том, что вижу. Раньше всех уезжают чиновники – в восемь. Потом – бизнесмены, около девяти. А сейчас двенадцать – час содержанок...

Эдуард Викторович выглянул в окно – и действительно: на широком дворе садились в машины, дружески приветствуя друг друга, сразу несколько молодых, длинноногих, дорого одетых девиц.

– Ты тоже обычно выходишь в двенадцать?

– Нет. Не хочется чувствовать себя содержанкой.

– Никогда больше не произноси этого слова! Никогда. Ты не содержанка. Ты женщина, которую я люблю...

– Конечно! Я женщина, которую ты любишь и содержишь...

– Не надо так! Поверь, я очень хочу на тебе жениться. Но я не могу!

– Я тебя никогда об этом не просила.

– А почему ты не просишь?

– Во-первых, потому, что проситься замуж нелепо. Просятся собаки на двор...

– А во-вторых?

– А во-вторых, у тебя жена, дети. И я не собираюсь ломать твою жизнь.

– Что же ты собираешься?

– Собираюсь быть с тобой, пока нам хорошо вместе.

– А если тебе станет со мной плохо?

– Но ведь ты тоже уйдешь, когда тебе станет со мной плохо!

– Мне никогда не станет с тобой плохо! Запомни это как следует!

– Ну что ж, значит, я всегда буду твоей любовницей, а твоя жена будет твоей женой.

– Да, моя жена всегда будет моей женой! Я поклялся.

– Ты? Поклялся?! Это на тебя не похоже...

– Ты просто плохо меня знаешь.

– На чем же ты поклялся? На Библии или на контрольном пакете акций?

«Фу, как нехорошо!» – возмутилась Дама.

«Давай, Зольникова, дожимай!» – похвалила Оторва.

– Остроумно! – после долгого молчания проговорил Эдуард Викторович. – Я поклялся здоровьем детей.

– Зачем?

– Я не могу тебе объяснить. Оля сделала для меня очень много. Она родила мне троих детей. А потом, после операции...

– Она болела?

– Да, очень сильно. После операции она сама предложила, чтобы я себе кого-нибудь нашел.

– И ты нашел себе Ли?

– Не сразу. Оля меня любит и хочет, чтобы я не испытывал никаких... проблем.

– Ого! Значит, я не простая любовница...

– В каком смысле?

– Я разрешенная любовница. У тебя замечательная жена. Я восхищена! Это же настоящее агапэ!

– Какое еще агапэ?

– Греки называли так жертвенную любовь.

– Откуда ты знаешь?

– В училище нам читали античную литературу. Я запомнила.

– Значит, с Ласкиным у тебя было агапэ?

– Нет, иначе я бы его не бросила – жалким и распадающимся... Дети здоровы?

– Что? Да, конечно...

– Ну и слава богу! Она знает обо мне?

– Знает. Она видела тебя на сцене.

– Значит, как в анекдоте? Наша – лучше всех...

– Ли, зачем ты так?

– Я не Ли. Меня зовут Лидия. Запомни!

После этого объяснения Эдуард Викторович не показывался у нее две недели. И не звонил. Нинка, узнав от подруги про ссору, посерьезнела и сказала очень значительно:

– А ведь ты его подсекла, кальмара этого! Теперь главное, чтобы не сорвался!

Нинка постоянно ездила на рыбалку с Рустамом и вся была в древнем искусстве ужения.

– Не хочу я за него замуж! – совершенно искренне воскликнула Лида. – Я его не люблю...

– А любовь-то тут при чем? Он должен на тебе жениться... Ты женщина или надувная кукла? А женщин мужики видят в нас только в тот момент, когда надевают кольцо на палец! До этого мы для них всего лишь более или менее удачная комбинация первичных и вторичных половых признаков. Поняла, Зольникова?

– Что я должна понять?

– Рожай от него – вот что! Чем богаче мужик, тем больше у него должно быть детей. Для справедливости!

– Ни за что!

Благонамеренная Дама без устали твердила, что Лида не имеет права разрушать чужую семью и уводить мужа у жены и отца у троих детей.

«Ты должна с ним расстаться!» – требовала она.

Но Оторва тоже времени зря не теряла: «Зольникова, не будь душой!»

Эдуард Викторович появился через две недели и подарил Лиде старинное кольцо с изумрудом. И все пошло вроде бы по-старому. Но это только на первый взгляд. Дама убеждала, что нужно или уйти от него, или смириться с жизнью на обочине чужого семейного счастья. Она посоветовала Лиде вызубрить все домашние праздники любовника и даже заставляла покупать подарки его жене и детям к дням рождения и именинам. Тем временем Оторва вела строжайший учет каждой неловкости или небрежности Эдуарда Викторовича, будь то чересчур нежный разговор с женой по телефону в ее, Лидином, присутствии или два выходных дня, проведенных им в семье. (По молчаливому уговору суббота принадлежала любовнице, а воскресенье

– супруге.) Оторва научила Лиду изображать в постели страстное исступление с последующим тихим отчаянием: вот, мол, ты сейчас уедешь к ней, а я, а я, а я...

«Может, заплакать?» – советовалась Лида.

«Ни в коем случае! – предостерегала Оторва. – Наоборот, надо встать с постели и сразу превратиться в чужую, в абсолютно чужую! Чтобы он смотрел на своего полпреда и спрашивал: “Парень, а может, это все нам с тобой приснилось?”»

«Да ну тебя!»

«Не “да ну”, а делай, что говорят!»

«Как?»

«А это уж ты сама придумай – как!»

И она придумала: когда потом они ужинали, Лида заставляла себя вспоминать Севу Ласкина, еще здорового, нежного, неустоимого.

«Молодец! – хвалила Оторва. – Мужик должен изредка догадываться о том, что женская память – братская могила его предшественников!»

– Ли, о чем ты думаешь? – раздраженно спрашивал любовник.

– Я? Да так... О разном, – доверчиво улыбалась она.

– А все-таки?

– Сказать?

– Скажи!

– Я хочу от тебя ребенка. Испугался?

– Не возражаю.

Это странное слово «не возражаю» он произнес со спокойной готовностью, лишь внимательно глянув на Лиду своими умными бесцветными глазами. Очевидно, Эдуард Викторович все заранее продумал и подготовился к такому повороту событий. Среди новых русских, надо сказать, организовалась своеобразная мода на многосемейственность, которая служила дополнительным свидетельством их финансовой и мужской могучести. Где-нибудь на Французской Ривьере можно было встретить, к примеру, отдыхающего от финансовых махинаций президента Н-ского банка, окруженного оравой разновозрастных ребятешек, произведенных на свет несколькими мамашами, обладающими всей полнотой супружеских кондиций, кроме, разумеется, отметки загса в паспорте. И случайному знакомому банкир за рюмкой раритетной малаги мог подробно и с удовольствием рассказывать о своем разветвленном чадолюбии, не скрывая живых подробностей:

– А вот тот беленький, Гордей, знаешь, от кого?

– От кого?

– От Стручковой.

– Так вот почему она больше не поет!

– А то!

Скорее всего, Лиду ожидала судьба именно такой почетной матери-одиночки, но желательная беременность не обнаруживалась с упорством, с каким она обычно наступает, если ее не хотят. Наверное, из-за того давнего рискованного аборта. Эдуард Викторович несколько раз заводил речь про обещанное потомство, а Лида только пожимала плечами: мол, очевидно, ребенок предвидит свою внебрачность и потому не спешит зачинаться. Любовник мрачнел, все больше запутывался в их отношениях и созрел для окончательного решения. Скорее всего, для разрыва. Тем более что их связь вступила в тот опасный период, когда свежесть обладания уже притупилась, а неотъемлемая привязанность, именуемая иногда «настоящей любовью», еще не настала.

Он даже завел интрижку с топ-моделью от Славы Зайцева, о чем моментально доложила осведомленная Нинка:

– Восемнадцать лет. Грудь своя. Ноги – от гипоталамуса!

– Наверное, это к лучшему! – вздохнула Лида.

Но тут, как на грех, из Израиля прилетел Ласкин – он теперь торговал косметической грязью Мертвого моря. Они встретились на приеме по случаю Дня независимости. Эдуарда Викторовича каждый год непременно звали на это торжество, потому что в 91-м он за свой счет снарядил защитников Белого дома грузовиком водки. А Севу затащил на фуршет двоюродный брат – заместитель министра чего-то там очень ресурсоемкого.

Ласкин, кажется, совсем выздоровел, но в его глазах осталась надломленность человека, побывавшего на краю душевного и физического распада. Увидев его, Лида почувствовала в сердце давно забытое сладкое стеснение, но быстро взяла себя в руки и, следуя совету Дамы, хотела пообщаться с ним с той теплой иронией, какую напускают на себя при случайной встрече давние любовники, расставшиеся без подлостей и взаимных оскорблений. Но все испортила Оторва. Она заставила Лиду побледнеть, пролепетать нечто постыдно трогательное и даже памятно дрогнуть всем телом. Наблюдавший эту картину Эдуард Викторович позеленел, как доллар, и тут же увез Лиду домой.

– Потос? – спросил он в лифте.

– Что?

– Ты забыла лекции по античной литературе?

Она действительно забыла и, когда любовник, втолкнув ее в квартиру, ушел, хлопнув дверью, отыскала старую студенческую тетрадку и прочитала, что «потосом» греки называли безрассудную страсть.

«Молодец!» – похвалила Оторва.

«Он не вернется. И это к лучшему!» – констатировала Дама.

На следующий день у Севы нашли в гостинице героин и со скандалом выслали в Израиль без всякого права бывать в России. А двоюродный брат, пытавшийся помочь, обнаружил вскоре в популярной газете такие разоблачения, касавшиеся его служебной деятельности, что надолго с головой ушел в показательное служение Державе.

«Ты должна уехать!» – посоветовала Дама.

«Как ни странно, она права, – согласилась Оторва. – Вали, Зольникова, в Степногорск!»

И она поехала на родину – к матери. Татьяна Игоревна, с некоторых пор получавшая немалые денежные переводы и, конечно, догадывавшаяся о появлении у дочери состоятельного друга, отнеслась к ее приезду со строгим сочувствием. Мол, а чем же еще все это могло закончиться! Лида побывала на могиле отца, повидалась со школьными подругами, повыходившими замуж, нарожавшими детей и мыкавшими свое беспросветное провинциальное счастье. Но особенно ее потрясла встреча с Димой Колесовым.

Она, конечно, знала, что, не попав в институт, он пошел в армию и потерял в Чечне ноги. Но Лидия Николаевна просто остолбенела, узнав в грязном и пьяном околамагазинном бомже своего первого сердечного друга.

– Зольникова! – крикнул он. – Это ты? А это я! Поцелуемся!

Она убежала, а Дима весь вечер разъезжал под ее окнами на своей колясочке, отхлебывая из горлышка водку и орал что-то бессвязно-страшное.

На следующий день у подъезда их пятиэтажки появился милицейский «жигуленок» с нарядом. Тем же вечером мэр города, бывший инструктор горкома партии, нанес Зольниковым визит вежливости и распорядился покрасить в подъезде стены. Свое внимание к землячке он мотивировал заботой о незабвенной победительнице городского конкурса красоты, о котором на самом деле все давно позабыли. Лида ни минуты не сомневалась, кто на самом деле скрывается за этой отеческой опекой.

Эдуард Викторович позвонил через неделю и потребовал:

– Возвращайся! Нам надо серьезно поговорить.

На Казанском вокзале ее встретил Костя, и по его особенной предупредительности она догадалась: что-то произошло. Так и оказалось: любовник сделал ей предложение.

– Нет, я не могу разрушать твою семью! – ответила она. – Пусть все будет по-прежнему. Мне с тобой и так хорошо.

– По-прежнему уже не будет. Я поговорил с Олей...

– И что?

– Она сказала, что давно к этому готова.

Бракоразводный процесс прошел без осложнений. Готовилась грандиозная свадьба с венчанием и последующим гуляньем в рублевском имении. Лида специально слетала с Нинкой в Париж и купила там себе такое платье, по сравнению с которым все эти каталожные свадебные чудеса просто сиротские фуфайки.

Но случилось иначе. Брошенная Оля впала сначала в депрессию, сменившуюся чудовищным приступом мести, и в этом приступе она, в прошлом инженер-химик, накормила младшего сына, одиннадцатилетнего Женю, какой-то отравой. Мальчика еле спасли в реанимации. Когда ее увозили в сумасшедший дом, она кричала, размазывая по исцарапанному лицу кровь и слезы:

– Он клялся здоровьем детей! Он клялся здоровьем детей!

В больнице Оля снова впала в совершенно растительную, необратимую, как говорили врачи, депрессию, и Эдуард Викторович услал ее в высокогорную швейцарскую лечебницу, откуда обычно не возвращались. А детей отправил учиться в Англию.

На улаживание скандала ушло два месяца. Нинка, поддерживавшая все это время подругу, снеслась со своим церковным разоблачителем, и тот, как специалист, венчаться пока отсоветовал. Эдуард Викторович не настаивал: он слишком страдал от случившегося. Тихо расписались в Грибоедовском и устроили небольшой – человек на семьдесят – ужин в Белом зале ресторана «Прага». Вызванная из Степногогорска Татьяна Игоревна в своем люрековом учительском костюме чувствовала себя неудобно и терялась от предупредительной назойливости официантов. А когда про бога Гименея запел специально приглашенный знаменитый бас, мать посмотрела на дочь с благоговейным ужасом. Добила же ее сидевшая рядом Нинка:

– Сволочь! Меньше штуки баксов за арию не берет.

– Откуда вы знаете? – сдавленно спросила Татьяна Игоревна.

– Он у нас на свадьбе тоже пел. Скажи, Рустик!

Рустам в подтверждение высокогорно цокнул языком.

После свадьбы улетели в Ниццу и провели первую брачную ночь в том же отеле и в том же номере, где когда-то впервые соединились телесно. Наутро Эдуард Викторович, осунувшийся и постаревший от переживаний, тихо сказал молодой жене:

– После всего, что мы натворили, единственное наше оправдание – любовь. Если мы ее предадим...

– Никогда не предадим! – прошептала Лида.

Благородная Дама внутри ее содрогнулась и заплакала. Оторва промолчала. Она попросту исчезла. Если бы навсегда!

Все это Лидия Николаевна вспомнила, дожидаясь мужа в их огромной спальне с зеркальным потолком. Но он так и не пришел. Наверное, в тот вечер ему нужно было просмотреть слишком много договоров...

5

Эдуард Викторович заказал изящную золоченую рамку и повесил портрет в столовой. Лида старалась не смотреть на рисунок подземного художника, а муж, напротив, отрываясь от вегетарианской снеди, вглядывался в изображение, а потом, точно сравнивая, переводил взгляд на жену и мрачнел.

Дела у него шли не лучшим образом: министра транспорта сняли за совсем уж неприличную взятку, обидевшую всех остальных своей бесшабашной громадностью. Новый министр, стажировавшийся некогда в Америке, оказался приятелем Старкова. Отношения с Майклом, судя по обрывкам разговоров и другим приметам, все более осложнялись, и порт неумолимо переходил под его контроль. Эдуард Викторович нервничал. Лидия Николаевна несколько раз слышала, как он, разговаривая с Майклом по телефону, срывался на брань. В газетах стали появляться статьи с названиями «Битва за Северомысск» или «Два медведя в одном порту». Не прерывая показательного служения Державе, двоюродный брат Севы Ласкина изловчился и в отместку за давнюю подставу тоже нагадил – мощно, но по-аппаратному изысканно. Однажды Эдуард Викторович вернулся из Белого дома в совершеннейшем бешенстве: ему посоветовали не упорствовать и уступить порт Старкову.

Они ужинали в полном молчании. Эдуард Викторович, по обыкновению, долго смотрел на портрет, а потом сказал:

- Наверное, мы скоро уедем из России.
- Почему?
- Здесь слишком много американцев...

Вместо Марбеллы Лидия Николаевна полетела в Крым. Одна. Эдуард Викторович обещал присоединиться попозже. Рустам ради смеха снял дачу, где когда-то отдыхали члены Политбюро. Огромную, поросшую соснами территорию огораживали высокие стены из бежевого кирпича. Въезд вовнутрь только через КПП, почти военный. Номера были большие, трехкомнатные, но бестолковые, обставленные с убогой советской роскошью. От сквозняка тихо позванивали хрустальными подвесками совершенно театральные люстры. На мебели сохранились жестяные инвентарные бирки, а в туалетных комнатах нет-нет да пробежал юркий тараканчик.

Каменная лестница, обсаженная розовыми кустами, спускалась к морю. Прежде здесь был великолепный песчаный пляж. Но лет двадцать назад какой-то умник додумался со дна бухты драгами черпать песок для строительных надобностей, и злопамятное море утащило сыпучую благодать в глубину, чтобы затянуть свои донные раны. Пришлось машинами завозить гальку.

Рустам пробыл с ними три дня. Эдуард Викторович дважды звонил, говорил, что вылетает, но потом все отменялось. Лидия Николаевна с интересом наблюдала, как Нинка управляет с мужем. Рустам был худощав и длинноволос – эдакий декадент с лицом кавказской национальности. Его отец еще при советской власти работал главным гайшником в южной автономии, где правила дорожного движения не соблюдают принципиально, и, будучи человеком небедным, дал сыну хорошее московское образование. Рустам свободно говорил по-английски, одевался с броской восточной элегантностью и до встречи с Нинкой вел жизнь вагинального коллекционера.

Лидия Николаевна всегда удивлялась, как подруге удалось приручить этого горного плеябоя. Понаблюдав супругов на отдыхе, она многое поняла. Варначева виртуозно играла роль сварливой невольницы: злила Рустама дурацкими шуточками, подколами и капризами, на которые тот поначалу не обращал внимания, потом начинал мрачнеть, и, наконец, его терпение лопалось, тонкое лицо перекашивалось гневом, и он издавал странный гортанный звук:

– Э-э-х-а!

И тут Нинка преображалась, прямо на глазах превращаясь в льстивое, льнущее, заглядывающее мужу в глаза гаремное существо. Рустам ее, конечно, прощал, и через некоторое время они, загадочно переглянувшись, удалялись в свой номер. По возвращении Рустам имел гордый вид кровника, осуществившего сладкую месть, а Нинка светилась томностью жертвы, получившей долгожданное наказание. Через час-другой она снова начинала целенаправленно злить мужа, Рустам снова простодушно бесился – и все повторялось.

– Сына хочет, – доверительно сообщила подруге Нинка. – Старается!

Оставшись одна, Лидия Николаевна бродила по пляжу и вспоминала свою первую поездку к морю вместе с родителями. Они отдыхали по профсоюзным путевкам на турбазе «Солнечная» в третьем ущелье, близ Пицунды, и жили в легком бунгало, рассчитанном на две семьи. За тонкой перегородкой поселились молодожены, упивавшиеся брачной новизной так шумно, что наутро Татьяна Игоревна, решительная общественница, отправилась к ним, долго вела переговоры и строго условились: они, семья Зольниковых, каждый вечер обязуются ходить в кино, независимо от того, какой фильм показывают, а молодожены в свою очередь должны окончательно насладиться друг другом в их отсутствие и ночью спать, как положено нормальным людям.

За двадцатичетырехдневный отдых Лида накопила до одурения. Фильмы были разные – в основном, конечно, советские, с выверенным семейно-производственным конфликтом в начале и с торжеством справедливости в конце. Наверное, именно эта с детства внушенная вера в неизбежную справедливость и погубила многих простодушных людей, когда в Отечестве объявили капитализм. Случались, правда, и зарубежные ленты, одна даже детям до шестнадцати. В нескольких местах, где страстные поцелуи героев внезапно обрывались, отец хмыкал и говорил тихонько:

– Вырезали!

– И правильно! – строгим шепотом отвечала мать.

После фильма они еще гуляли вдоль ночного моря, тихонько ворочавшегося в своих галечных берегах. Лунная дорожка была похожа на косяк светящихся золотых рыбок, уплывающих к горизонту. Отец возмущался тем, что за него, взрослого человека с высшим образованием, государство решает, что ему можно смотреть, а что нельзя, а это унижительно – и когда-нибудь весь этот детский сад с баллистическими ракетами, занимающий одну шестую часть суши, развалится со страшным грохотом.

– Ну прямо из пятнадцатой школы! – обрывала его мать.

– Почему же из пятнадцатой? – обижался отец.

– Да потому! Ребенок слушает...

Молодожены оказались приличными людьми, соглашение старались соблюдать, а если и нарушали, то тихонько-тихонько. Татьяна Игоревна качала головой и возмущенно вздыхала, как она обычно делала, проверяя тетрадки учеников и обнаруживая какие-то совершенно несусветные ошибки.

На второй день по приезде Лида сгорела на солнце до волдырей, ходила вымазанная простоквашей, и соленый запах моря навсегда смешался в ее сознании с запахом скисшего молока. Отец нырял с маской, а она сидела на берегу, укрытая большим полотенцем, и ждала, когда он приплывет и положит к ее ногам очередного краба, который тут же старался смыться бочком назад в море. Николай Павлович страстно увлекался подводной охотой. В тот год в ущелье приезжал иностранец – один из постояльцев высившихся на самом мысу интуристовских башен. У него были огромные, похожие на перепончатые лапы динозавра ласты, замечательный черно-желтый подводный костюм и фантастическое ружье, бывшее под водой, как уверял отец, метров на двадцать. Он завистливо вздыхал и обещал Лиде, что когда-нибудь обязательно купит себе такое же снаряжение. Тем не менее из своего дешевенького резинчатого ружья ему уда-

лось подстрелить однажды здоровенного лобана. Николай Павлович договорился на кухне, и на ужин, к зависти остальных отдыхающих, им вынесли на блюде зажаренную целиком рыбину. Отец резал добычу на куски и говорил, что если бы они такую же заказали в ресторане, то это стоило бы не меньше двадцати пяти рублей – большие по тем временам деньги.

Ведущий конструктор Зольников был добрым и совершенно некорыстливым человеком, но имел странную привычку все оценивать в деньгах. Например, когда они возвращались на электричке с грибами из леса, он совершенно серьезно прикидывал, сколько стоила бы такая корзинка на рынке, а поклеив в их двухкомнатной квартирке обои, долго высчитывал и докладывал за ужином, сколько бы с них слупила фирма «Заря».

Отец умер совсем молодым – в 94-м. После того как закрылся оборонный НИИ, куда он пришел сразу после окончания института, удалось устроиться только ночным сторожем на мебельный склад. Николай Павлович страшно переживал эту перемену в своей жизни – и вскоре заболел раком. У матери, правда, имелась своя версия ранней смерти мужа. Она где-то прочитала, что из Польши одно время по дешевке гнали в Россию мебель, изготовленную с какими-то чудовищными экологическими нарушениями и выделявшую вследствие этого в воздух канцерогенные вещества. Они-то и погубили отца.

Однажды, кажется в Испании, Лида с Эдуардом Викторовичем зашли в большой спортивный магазин, где целый этаж был отдан под экипировку для подводной охоты. Увидав точно такой же черно-желтый костюм, о каком мечтал покойный отец, Лида заплакала.

Мать, всегда относившаяся к мужу со снисходительным неудовольствием, точно к бестолковому ученику, после его смерти сильно сдала, превратившись из цветущей, полногрудой женщины в преждевременную старушку. Больше всего она переживала, что второпях взяла на кладбище слишком маленький участок, да еще возле водопроводного крана, и там все время толклись родственники усопших с банками и ведрами. Деньги, которые ей присылала Лида, она отдавала в основном на восстановление храма, где до этого много лет был завод безалкогольных напитков.

Лида, выйдя замуж и став полноправной хозяйкой рублевского имения, долго уговаривала мать переехать к ним и наконец уговорила. Татьяна Игоревна, выйдя из машины, долго стояла на мраморной лестнице, оглядывая парк и огромный викторианский дом.

– Богато живете! – только и вымолвила она.

Причем слово «богато» мать произнесла с нарочитым южным «г», отчего фраза прозвучала обидно и даже унизительно. Прогостив неделю, Татьяна Игоревна уехала назад в Степногорск, на прощание посмотрев на Лиду так, словно именно дочь и была виновата во всем, что случилось с отцом...

Бродя по берегу в ожидании наказанной Нинки и отмищенного Рустама, Лидия Николаевна нашла на берегу пустую крабью клешню, и приставленный к ней даже на отдыхе Костя изготовил по ее просьбе амулет, наподобие тех, что делал много лет назад отец. Николай Павлович заливал хитиновую полость горячим сургучом, вставлял проволочную петельку и продавал лещу. Увидев подругу с амулетом на шее, Нинка стала звать ее «Нептуновной».

Рустам улетел в Африку на сафари, и Лида с Нинкой остались вдвоем, если не считать телохранителя, который целыми днями сидел в дежурке с охранниками, пил вино, вспоминал с ними первую чеченскую войну и играл в нарды. Эдуард Викторович позвонил и объявил, что никак не сможет вырваться даже на день. Он ждал обещанной аудиенции у президента и возлагал на нее большие надежды.

Подруги загорали совершенно голые – за заборчиком, увитым виноградом. Иногда они замечали, как над оградой смотровой площадки появлялись осторожные головы охранников, подглядывавших за ними.

– Опять! – возмущалась Лидия Николаевна.

– Не обращай внимания! – успокаивала Нинка.

Лида вспомнила еще одну поездку к морю, когда ей было уже лет тринадцать и ее недавно совершенно мальчишеская грудь стала еле заметно припухать. Она объявила родителям, что без лифчика купаться не станет.

– Не ерунди! – оборвала мать. – Ничего еще не заметно...

Обнаружив, что девочки, даже моложе ее, купаются, разумеется, в полноценных купальниках, Лида расплакалась, убежала в бунгало и отказалась выходить на пляж. Она лежала на кровати и обиженно читала взятые в библиотеке затрепанные, пахнущие соленой сыростью книжки. Но Татьяна Игоревна была неумолима:

– Ну прямо из пятнадцатой школы! Запомни: меня не переупрямишь!

На второй день родители поссорились, отец обозвал жену «унтером Пришибеевым в юбке», взял из спрятанных в матрас «фруктовых» денег десять рублей, поехал в пицундский универмаг и вернулся с пестрым, в цветочках, жутким купальником, который вдобавок оказался еще и велик. Татьяна Игоревна, потрясенная мужниным бунтом, безмолвно взяла купальник и ушла. Наутро Лида вышла и гордо проследовала к воде, удивляясь, почему никто из разлегшихся на берегу не замечает, что она теперь уже совсем как взрослая.

Над оградой смотровой площадки вспыхнул ослепительный блик: охранники рассматривали их уже в бинокль.

– Надо Косте сказать! – взорвалась Лида, закрываясь полотенцем.

– Да брось ты, Нептуновна! – отозвалась Нинка. – Костя заодно с ними. Тебе жалко? Пусть мужики посмотрят, пока есть на что!

От скуки они читали дурацкие дамские романы, сочиненные полными идиотками, и цитировали друг другу особенно восхитительные своей мезозойской глупостью места:

– Лидк, вот слушай: «Он долго целовал ее отзывчивое тело, словно хотел губами изучить каждый миллиметр этой бархатной, пьянящей кожи, а потом властно, почти грубо вошел в нее...»

– И заблудился...

– И заблудился! – подхватывала Нинка, хохоча. – Слушай, Лидк, а может, нам с тобой стать лесбиянками?

– Зачем?

– Ну так... для разнообразия. Знаешь, ко мне на втором курсе приставала эта... как ее? Сцендвижение у нас преподавала...

– Елена Леопольдовна?

– Ага, Елена Леопольдовна. Я тогда молодая была, глупая, ничего не понимала, а недавно вдруг сообразила, что она за мной, оказывается, ухаживала.

– А как ухаживала?

– Показать?

– Иди к черту!

– Какая-то ты все-таки, Лидка, грубая, нелесбическая, честное слово!

Лидия Николаевна подолгу плавала в море, ныряла как можно глубже и старалась понять, что чувствовал отец, охотясь в зеленом подводном сумраке, среди поросших длинными бурыми водорослями скал, которые словно раскачивались в такт пробегающим наверху волнам. Иногда она воображала, что если навсегда сдержать дыхание, перетерпеть страх, то в организме произойдут волшебные изменения – и она превратится в русалку. Но в русалку она, конечно, не превращалась, а выскакивала на поверхность и долго не могла надышаться, потом выходила из воды, валилась на песок, еще оставшийся кое-где возле сосен, и мокрое тело покрывалось влажной сыпучей коркой.

А если песок пристанет к коже навсегда, фантазировала Лида, и она вернется к мужу в таком вот наждачном состоянии, интересно, бросит ее Эдуард Викторович?

Как-то вечером они с Нинкой поехали в ресторан «Моллюск», вылепленный из цветного бетона в виде гигантской раковины с циклопическими шипами. Когда подруги вышли из машины, прибрежные альфонсы буквально бросились им навстречу, но, завидев страшную физиономию Кости, сразу остыли и с тоской наблюдали их одинокий ужин, не отваживаясь даже пригласить на танец.

В углу ресторанный залы имела небольшая сцена, уставленная аппаратурой. Сначала сцена пустовала, но потом на ней появились простолицая, скромно одетая девушка и длинноволосый парень в джинсах и майке. Завидев их, Нинка сначала даже поморщилась: «Ну вот, пожрать спокойно не дадут!» Но пела девушка замечательно. Репертуар ее состоял в основном из курортных шлягеров. И хитренькая девушка начинала каждую песню именно так, как исполняла ее какая-нибудь звезда, – временами казалось даже, что она просто старательно раскрывает рот под «фанеру». Но потом хитруня, лукаво и нежно переглянувшись с длинноволосым парнем, мороковавшим у синтезатора, вдруг обнаруживала необыкновенно сильный, изощренный голос и начинала вытворять такое, что столичные аранжировщики поиздыхали бы от зависти в своих миллионных студиях. После каждого исполнения ресторан взрывался аплодисментами, и восхищенные курортники несли певице деньги, которые она не брала – лишь величественно кивала на корзиночку, стоявшую на одном из усилителей, а потом, улучив мгновение, исподтишка взглядывала в ожидании похвалы на своего аккомпаниатора. Тот благосклонно улыбался, но было заметно, что корзиночка интересует его куда больше, нежели влюбленная певица.

– Талантливая! – восхищенно сказала Лида, отправив с официанткой сто долларов, перемещение которых от сумочки до корзиночки было тщательно отслежено длинноволосым.

– Супер! Московские курлыкалки отдыхают! – согласилась Нинка, отрывая взгляд от понравившегося ей бармена, похожего чем-то на Харатьяна. (Она, кажется, совсем уже позабыла свои однополюсные фантазии...)

– Неужели ее до сих пор никто здесь не заметил?

– Кто? Талант – это укор бездарностям. А их всегда больше. Разве пустят?

– Но ведь кто-то же прорывается?

– Конечно! Некоторые и до Москвы добираются. Автостопом – на попутных кроватях. Но у этой не получится. На мордочку ее посмотри! Будет здесь всю жизнь глотку драть, кормить своего патлатого, заведет от него ребеночка, и ку-ку... Талант должен доставаться стервам!

– Жаль.

– Жизнь безжалостна, как нож гинеколога! – вздохнула подруга.

В перерыве певица подсела к стойке и залпом осушила бокал красного вина.

– Вот, а потом сопьется, – буркнула Нинка.

Странно, что она это вообще заметила, так как всю переглядывалась с барменом. В самый разгар переглядываний позвонил из Африки Рустам и сообщил, что застрелил льва.

Выйдя из ресторана, подружки решили прогуляться по широкой, уходившей вдаль аллее, недавно проложенной, вымощенной белыми плитами и обсаженной по сторонам молодыми кипарисами. Никто за ними не увязался: их тыл надежно прикрывал угрожающий Костя. В воздухе веяли головокружительные ночные ароматы, где-то мерно шуршало море, а звезды над головой сияли, словно иллюминация в далеком небесном городе. Аллея оборвалась внезапно. Из-за последнего кипариса выскочил непонятно как оказавшийся впереди Костя и предупредил:

– Дальше – грязь!

И в самом деле, впереди была огромная, полная звезд лужа.

Старков возник неожиданно – за день до отъезда. Он тихо вошел на пляж и замер, сравнительно разглядывая обнаженных подружек. Первой заметила его Лидия Николаевна.

«Закройся!» – взвизгнула Дама.

«Не так быстро!» – очнулась Оторва.

Глядя, как подруга набрасывает на себя полотенце, Нинка, наоборот, раскинулась еще завлекательнее и томно упрекнула неожиданного гостя:

– Майкл, как вам не стыдно находиться в обществе голых дам одетым?

Он радостно улыбнулся, стянул шорты вместе с плавками, показательно игранул мышцами и с разбегу нырнул в воду.

– Хорош, хомо самец! – вздохнула Нинка. – К тебе приехал...

– Ты с ума сошла! – Лида быстро натягивала купальник. – Зачем ты его заставила раздеваться?

– Ага, такого заставишь! А нудизм, подруга, единственное утешение в нашей нудной жизни!

Лида встала и положила полотенце у самой воды. Миша выходил из волн, словно молодой бог, простодушно не ведающий срама. Увидев полотенце, Старков снисходительно улыбнулся и неторопливо обернулся им, давая возможность по достоинству оценить содержимое загорелых чресел. Нинка, вняв возмущенным взглядам подруги, прикрылась книжкой с целующейся парочкой на обложке и весело спросила:

– Какими судьбами, мистер Старк, в наш женский монастырь?

Оказалось, Миша был в Ялте по делам очень важного груза, надолго застрявшего там из-за незалежной упертости хохляцких таможенников, а дальше его путь лежал в Севастополь, где ему под видом металлолома обещали продать свеженький противолодочный крейсер, заказанный и уже частично оплаченный китайцами. И вот он, так сказать, по пути решил провести очаровательных дам.

– Майкл, ты, наверное, шпион? – засмеялась Нинка.

– Конечно, меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. И я очень люблю красивых женщин!

– Эдуард Викторович знает, что вы здесь? – тревожно спросила Лида.

– Разве я похож на самоубийцу? – захохотал Старков.

Ужинать поехали в «Моллюск». По пути наперебой расхваливали Майклу необыкновенную певицу.

– Если вы не преувеличиваете, то это интересно! У меня есть знакомый продюсер – ищет таланты...

Но в тот вечер, как назло, пела совсем другая девушка, восполнявшая полное отсутствие вокальных данных буйной автономией роскошных ягодич. Денег ей несли еще больше, и она благодарно вминала их в свой бездонный лифчик.

Когда проходили мимо бара, Нинка кивнула белокурому двойнику Харатьяна, словно старому знакомому. В тот вечер она была томно рассеянна, жаловалась на духоту и несколько раз выбегала из-за стола якобы подышать свежим воздухом. Майкл рассказывал о том, как жил с родителями в Америке и долго, поначалу безуспешно, учился быть нерусским. Со временем научился и однажды, затащив в постель студентку соседнего колледжа, наутро признался ей, что приехал из России.

– Сначала эта воспиха обалдела и подумала, что я ее разыгрываю...

– Кто? – не поняла Лида.

– WASP – white Anglo-Saxon protestant, – объяснил Старков. – Жуткие зануды! Потом она страшно испугалась и прямо от меня, кажется, побежала в ЦРУ...

– А разве в Америке тоже стучат? – удивилась Нинка, в очередной раз вернувшись с воздуха.

– Вау! Так стучат, как в доме во время ремонта!

Весь ужин он смотрел на Лидию Николаевну с нескрываемым вождением, и она всячески корила себя за то, что надела платье с глубоким вырезом.

«А ведь я тебя предупреждала!» – ворчала Дама.

«Нормально, – успокаивала Оторва. – Тебе же приятно!»

«Ничего приятного! У этого Майкла ухмылка сексуально озабоченного тинейджера!»

«А по-моему, у него очень милая детская улыбка...»

Нинка объявила, что у нее страшно болит голова и что Костя отвезет ее, а потом сразу вернется за ними. Оставшись вдвоем, они еще долго разговаривали. Майкл рассказывал, как страшно испугался, когда после ареста отца к ним ввалились с обыском и перерыли всю квартиру в поисках запрещенной литературы. Он даже стал заикаться, и вылечили его только в Америке – старенький логопед из военной еще эмиграции. У него на стене в кабинете висел портрет генерала в очках – Власова.

– Теперь я заикаюсь, только когда очень в-в-волнуюсь! – с улыбкой сказал Майкл и под столом положил руку ей на колено.

«Пощечину! Дай ему пощечину!» – заголосила Дама.

«Зачем? Тебе же нравится!» – хмыкнула Оторва.

– Значит, сейчас вы волнуетесь? – спокойно спросила Лидия Николаевна.

– К-конечно! – рассмеялся Старков, и его теплая ладонь осторожно двинулась дальше.

– Уберите руку! – тихо приказала Лидия Николаевна.

– Почему? Я же вас люблю! Давно. Вы же знаете.

– Нет, не знаю. Надеюсь, Эдуард Викторович тоже не знает.

– Надеюсь, – помрачнел Майкл и убрал руку.

– Скажите, Майкл, что происходит у вас с моим мужем? – очень серьезно спросила она.

Эта серьезность происходила, наверное, от стыда и недовольства собой, потому что на том месте, где побывала его ладонь, остались теплые благодарные мурашки.

– Эдуард, к сожалению, не может понять, что теперь время цивилизованного бизнеса.

– Он очень переживает из-за порта.

– Вы, русские, странные люди. Переживать надо из-за другого. Вот я переживаю из-за того, что совсем вам не нравлюсь. – Майкл отхлебнул вина и внимательно посмотрел Лидии Николаевне в глаза. – Я правильно вас понял?

– Я замужем, – вытерпев его взгляд, ответила она.

– Вы просто как наши воспики! Они, конечно, изменяют мужьям, но потом очень переживают.

– Мне эти переживания не грозят.

– Жаль. А Эдуард просто не умеет управлять портом. Это может плохо кончиться, и я этого никогда не допущу. Я вложил в дело слишком много денег.

Когда они покидали ресторан, за стойкой хлопотал совершенно другой бармен. Костя довез их, лихо вписываясь в извилистые повороты. Казалось, машина мчится не по шоссе, а скользит, словно по монорельсу, по белой разделительной полосе. Лидия Николаевна, поблагодарив за ужин, направилась в свой номер, а Майкл остался около машины и о чем-то заговорил с телохранителем.

Она была немного пьяна, возбуждена, хотела перед сном поболтать с Нинкой, но дверь подруги оказалась заперта, и на стук никто не откликнулся. Огорченная, Лидия Николаевна долго сидела на балконе, прислушиваясь к странным таинственным звукам, какие может рождать только сонное море. По телу блуждали нежные безымянные воспоминания, вызывавшие в душе умиротворяющую тоску. Потом она легла в холодную и чуть влажную постель, но спать не хотелось. Лидия Николаевна дочитала книжку, закончившуюся, как всегда, сногшибательной свадьбой героев, выключила ночник и уже почти задремала, когда скрипнула дверь. Она открыла глаза: на пороге – совершенно голый – стоял Старков и улыбался с детским лукавством. В свете законного фонаря его тело напоминало вырезанного из черного дерева языческого идола, а готовность к любви поражала могучей заблаговременностью.

– Вы с ума сошли! Уходите сейчас же! – почти закричала она. – Если Эдуард Викторович узнает...

– Не узнает. Я заплатил Косте.

– При чем здесь Костя?

– Не бойся! Никто ничего не узнает! – Он медленно подошел к кровати и встал на колени. – Нам будет очень хорошо. Очень!

– Я закричу!

– Обязательно закричишь! Я обещаю...

– Нет! – Она с размаху ударила его по лицу.

Он поймал ее руку и поцеловал.

«А он нахал!» – возмутилась Оторва.

«Заткнись, дура!» – совершенно Нинкиным голосом ответила ей Благонамеренная Дама.

Старков в самом деле оказался необычайным постельным искусником, обладающим почти спортивной сноровкой, и поначалу Лидия Николаевна чуть не потеряла сознание от неведомой прежде остроты содроганий, но ближе к утру она испытывала уже тошнотворное состояние человека, объевшегося деликатесами.

– Ты не разочарована? – спросил Миша во время недолгого тайм-аута.

– Я устала, – ответила Лидия Николаевна.

Светало, когда Старков, еще раз основательно продемонстрировав свою неутомимость, поднялся с постели и пошел к двери. На минуту он задержался у зеркала и, с восхищением оглядев себя, игранул могучей грудной мышцей. Лидии Николаевне стало так стыдно, так горько и противно, как никогда еще в жизни.

– Ничего не было! Запомни: ничего не было! – прошептала она.

– Конечно, ничего! – ответил он, озирая ее с тем профессиональным удовольствием, с каким, наверное, легкоатлет смотрит на планку, которую долго не мог преодолеть и вот наконец взял.

И вышел.

В ту же минуту она бросилась под душ, пустила горячую воду, почти кипятком, и долго смывала с себя случившееся. Ей казалось, если его остропахнувший спортивный пот впитается в кожу, Эдуард Викторович обязательно почувствует и обо всем догадается.

К завтраку она вышла поздно.

– Ну и зря! – сказала Нинка.

– Что – зря? – похолодела Лидия Николаевна и со стыдом ощутила свою жаркую женскую натруженность.

– Не далась такому мужику! О чем на пенсии вспоминать будешь, неуступчивая наша?

– Ты его видела?

– Ну да! Я как раз вернулась, когда он уезжал. Плакал, как ребенок, говорил, что в Америке таких верных жен нет...

– А ты? – спросила Лидия Николаевна, краснея. – Как ты?

– Что я? Качели... – угрюмо ответила Нинка.

Перед отлетом они хотели съездить на базар, но Костя не подал вовремя машину: заигрался с охранниками в нарды.

– В чем дело? – возмутилась Лидия Николаевна.

– Пардон, мадам! – ответил он с очевидной хамоватостью.

– Ты что, денег накопил? – обозлилась Нинка.

– Накопил! – ухмыльнулся Костя и обидно хрюкнул перебитым носом.

6

В самолете Лидия Николаевна несколько раз доставала зеркальце и выискивала в лице, в глазах приметы давешней измены.

– Прыщи – от морской воды, – успокоила ее Нинка.

В аэропорту их ждали две машины. Вторая с охраной.

Когда медленно открылись бронированные ворота усадьбы и они подъехали к дому, Лидия Николаевна заметила, что одетых в черное охранников стало больше.

– Что-нибудь случилось? – спросила она водителя.

– Пока вроде нет, – ответил Леша.

Эдуард Викторович встретил ее холодно и даже поцеловал в щеку с видимым усилием.

– Что происходит? – встревожилась она.

– Просто устал...

За едой, как обычно, сидели напротив друг друга в разных концах стола. Муж был угрюм.

– Что президент? – спросила она.

– Занят.

– Как дела в порту?

– Плохо. Старков оказался негодяем.

– Что-то еще можно сделать?

– Делаю. Как ты отдохнула?

– Очень хорошо. Жаль, что ты не выбрался. Погода была прекрасная. Я загорала без купальника. Увидишь!

– Это все?

– Нет, не все... Нинка склоняла меня к лесбиянству.

– Склонила?

– Это же шутка, Эд!

– Ах, шутка?

Муж молча прихлебывал тибетский чай. Лидия Николаевна ела фруктовый салат и думала о том, что сегодня будет с ним необыкновенно нежна, но, конечно, не настолько, чтобы чрезмерной отзывчивостью выдать свою вину. Оглядывая залу, она посмотрела на портрет и вздрогнула от неожиданности: в глазах нарисованной женщины появилась блудливая повадка.

– Теперь заметила? – спросил муж.

– Что?

– Когда протирали пыль, повредили графит. Рисунок был плохо зафиксирован. Иди к себе!

– Ты придешь?

– Попытаюсь...

Поднявшись в спальню, Лидия Николаевна снова долго смотрела на себя в зеркало, стараясь уловить случившиеся в ней предательские перемены, потом ей показалось, что от тела все-таки исходит еле уловимый запах курортного соития, и она натерлась ароматическим кремом, который купила когда-то в Париже, но так ни разу им и не воспользовалась. Потом вдруг спохватилась, что именно этот неведомый мужу запах может вызвать подозрения, и долго смыла крем с кожи, до красноты натираясь мочалкой.

Эдуард Викторович все не шел. Она, чтобы отвлечься, позвонила Нинке и выяснила, что Рустам подхватил в Африке жуткую кишечную инфекцию и стал «настоящим санузником».

Муж так и не появился. Ночью ее разбудили крики. Она припала к окну и увидела, как по освещенной лестнице несколько охранников протащили какого-то человека, изуродованного

до кровавой неузнаваемости. Только по сломанному носу можно было догадаться, что волокли они Костю. Она забилась в угол и, дрожа от ужаса, ждала, когда придут за ней.

«Вызывай милицию!» – истошно вопила Благонамеренная Дама.

«Какая милиция! У него вся милиция куплена! – злорадно отвечала Оторва. – Раньше надо было думать!»

– Пропадите вы пропадом! – заплакала Лидия Николаевна. – Суки!

Снаружи что-то происходило: слышались отрывистые команды, хлопанье автомобильных дверей, рокот моторов, но подойти к окну было страшно. Потом все стихло. Выждав с час, она спустилась в холл. В камине чуть шевелились дотлевавшие угли. Лидия Николаевна подошла и заметила золотой уголок от сгоревшей рамки.

Утром приехала Нинка, необычно серьезная и бледная.

– Телевизор смотрела? – спросила она с порога.

– Какой телевизор?

Нинка молча включила огромный плоский экран. Заканчивалась популярная гастрономическая передача «ВИП-кухня», которую вел популярный некогда бард. В гостях у него был известный правозащитник, в прежние времена прославившийся всемирно известной антисоветской голодовкой, кажется, вместе с Романом Старковым. Теперь он показывал телезрителям, как готовится его любимое блюдо.

«А лучок?» – с усмешкой умного грызуна спрашивал бард.

«А лучок мелко пошинкуем. Без лучка никак нельзя!» – весело отвечал бывший диссидент, орудуя большим ножом.

«Ножичек чувствуете? – не унимался бард. – Фирма “Золлинг”. Рельсы можно пилить...»

«Чувствую!»

Наконец пошли новости. В самом конце диктор с добродушным удовлетворением сообщил, что ночью в Москве снова произошло громкое смертоубийство: в перестрелке погибли несколько человек, и среди них – совладельцы одного крупного российского порта. Имена совладельцев в интересах следствия пока не называются. Подробности трагедии в следующем выпуске новостей. Сказав все это, диктор быстро глянул на зрителей, давая понять, что разве только идиот не догадается, о ком именно идет речь.

– Вот козлы! – прошептала Нинка. – Из-за денег!

Лидия Николаевна почувствовала в теле тошнотворную легкость и потеряла сознание.

7

После похорон мать, непривычно ласковая и заботливая, увезла ее в Степногорск. Конечно, никакой милицейский «жигуленок» уже не дежурил у подъезда и никто не наносил визиты вежливости. Только Дима Колесов, чистый и трезвый, пришел к ним, скрипя новенькими, подаренными, кажется, Соросом, протезами, и принес давнюю фотографию конкурса красоты, на котором Лида была избрана королевой.

– Не пьешь? – строго спросила Татьяна Игоревна.

– Зашился, – ответил он и безнадежно посмотрел на одноклассницу.

Месяц она прожила словно в оцепенении, горстями пила таблетки, которыми ее снабдила Нинка, но все равно просыпалась среди ночи и мучилась воспоминаниями. В этих воспоминаниях смешалось все: и глумливая усмешка диктора, сообщающего о смерти мужа, и победная улыбка Старкова, выходящего из ее номера, и недоверчивая ухмылка следователя, помогавшего, зачем все-таки Майкл Старк, будучи в непримиримой ссоре с Эдуардом Викторовичем, навещал ее в Крыму.

Но самым невыносимым было воспоминание о похоронах. Нинка не оставляла подругу ни на минуту. Вместе они собирали вещи, чтобы отвезти в морг. Варначева долго стояла, вздыхая, перед открытым стенным шкафом, где, словно в магазине, теснились бесчисленные костюмы убитого. «Сколько же нужно живому! – подумала Лидия Николаевна. – А мертвому – всего один костюм. Навсегда...»

В морге они встретили старшего сына Эдуарда Викторовича – Лёню. Она никогда его не видела, но сразу узнала: на рабочем столе мужа стояла большая фотография, запечатлевшая всю их дружную и счастливую некогда семью. Лёня глянул на мачеху такими же бесцветными, как у отца, глазами и отвернулся. С ним был красномордый бородач в золотых очках и кожаном пиджаке. Он хамовато разъяснил, что все хлопоты и расходы, связанные с похоронами, семья берет на себя, а вдова (это слово он произнес с ухмылкой), если хочет, может прийти на отпевание.

– А кто вы, собственно, такой? – возмутилась Нинка.

– Скоро узнаете! – пообещал бородач.

В Елоховском храме народу собралось немного: родственники, сотрудники и какая-то правительственная мелочь. Да еще несколько прихожан, узнавших, что отпевать будут «того самого», остались после утренней службы, перешептывались и рассматривали траурную Лиду с осуждением, а детей убиенного с сочувствием. Смысл перешептываний сводился к тому, что настоящая вдова сидит в сумасшедшем доме, а эта, в черном, – так, приبلудная.

Из Лондона на похороны прилетели также дочь и младший сын Эдуарда Викторовича, и Лидия Николаевна постоянно ловила на себе их гадливые взгляды. Красномордый все время что-то шептал на ухо Лёне, а тот согласно кивал. Нинка сообщила, что навела справки: бородач – известный адвокат с роскошным имиджем и очень нехорошей репутацией.

Эдуард Викторович лежал в дорогом дубовом гробу, точно в огромной полированной шкатулке с откинутой крышкой. Серое лицо его было спокойно, а фиолетовые губы чуть искривлены в загадочной покойницкой усмешке.

Она вспомнила, как, выйдя из Лувра, они долго гуляли по весеннему Парижу и рассуждали о загадочной улыбке Моны Лизы.

«Ничего загадочного, – говорил Эдуард Викторович. – Она тихонько изменила мужу и смеется над ним!»

«Фу, как не стыдно! – возмущалась Лидия Николаевна. – При чем тут измена?»

«Ладно! Вторая версия, – легко согласился он. – Ее смешит совсем другое: мужчины поклоняются красивым женщинам, как богиням, а у богини в это время живот пучит...»

«Ну и что? – пожала плечами Лидия Николаевна. – Античные боги страдали человеческими недугами и все-таки оставались богами, потому что были бессмертны...»

«Что значит “были бессмертны”? У бессмертия нет прошедшего времени!»

«Да, действительно глупо!» – согласилась она.

И вот сейчас, глядя на неживое лицо мужа, Лидия Николаевна вдруг поняла: у Моны Лизы тоже, оказывается, мертвая улыбка – и в этом вся разгадка...

Подошел деловитый батюшка и зарокотал привычной скороговоркой. Лидия Николаевна не вслушивалась в слова, неумело крестилась следом за матерью и вздрагивала всем телом, когда певчие подхватывали тоненькими голосами: «Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего Михай-и-ила!» Ей казалось, что отпевают не мужа, лежащего в гробу, а совсем другого человека с неведомым именем Михаил. Ведь она знала, чувствовала, принимала в себя только вот это теперь уже холодное тело по имени Эдуард Викторович, а о существовании нетленного «Михаила» даже и не подозревала.

Когда прощались, она склонилась над мужем, но так и не решилась прикоснуться губами к бумажному венчику, прикрывавшему холодный лоб. Похоронили его на Новокунцевском кладбище между скромной могилой знаменитого физика и черно-мраморным обелиском, где в полный рост красовался широкогрудый улыбающийся браток, а на цоколе были выбиты слова: «Любим, помним, отомстим».

Живя у матери, Лида почти не выходила из квартиры. Вечером, вернувшись с работы, Татьяна Игоревна рассказывала дочери школьные новости, потом садилась проверять тетрадки и тяжело вздыхала, горюя то ли над неистребимыми ученическими ошибками, то ли над жизнью, безжалостной и невосполнимой.

Как-то днем возле их дома остановились два джипа. Из одного вылез одетый в длинную шубу красномордый адвокат, а из другого выскочили плечистые ребята в меховых куртках. Лидия Николаевна была дома одна. Они ввалились в квартиру и долго с удивлением оглядывали невзрачную обстановку. Наконец адвокат достал из крокодилового портфеля пачку бумаг и вежливо сказал:

– Подписывайте!

– Что это?

– Подписывай! – вдруг заорал он, багровея. – А то подложим тебя к Эдику, чтоб не скучал!

Она подписала. У нее оставались только квартира на Зоологической и розовый джипик, да еще драгоценности, в разное время подаренные мужем. В Москву Лидия Николаевна вернулась весной, когда улицы были уже почти летние, но в подворотнях дотаивал грязный снег. Она сидела дома и смотрела в окно на содержанок. Иногда заходила беременная Нинка, озабоченная тем, что будущий ребенок может оказаться блондином, катастрофически непохожим на Рустама.

– Вот сволочь! – ругалась Варначева. – Сына ему подавай! То не хотел, а теперь приспичило!

– Кажется, бармен был крашеным, – успокаивала ее Лидия Николаевна.

Следствие все еще тянулось, ее постоянно вызывали на Петровку и выспрашивали, например о том, куда мог бесследно исчезнуть служивший в охране Эдуарда Викторовича Константин Сухарев, бывший десантник и отец двоих детей. Она в ответ только пожимала плечами: мол, делами мужа не интересовалась и ничем следствию помочь не в состоянии.

Однажды, собравшись с силами, Лидия Николаевна съездила на кладбище. На обелиске братка появилось свежевыбитое слово «Отомстили!». Она убрала просевшую за зиму могилу и зашла в мастерскую – прицениться, сколько будет стоить памятник. Но ей ответили, что памятник уже заказан, и даже показали большую глыбу белого мрамора, из которого его скоро начнут тесать.

По дороге с кладбища Лидия Николаевна, повинувшись неодолимому желанию, остановилась в том же самом месте, на углу Воздвиженки и Арбатских Ворот, вышла из машины и спустилась в переход. Там все было по-прежнему, только уголок, где сидел Володя, теперь занимала художница в кожаной куртке, обмотанная ярко-зеленым в красных маках платком. Навстречу поднялся изнывающий без работы псевдо-Сезанн:

– Кого ищем, мадам?

– А где Володя?

– Какой Володя?

– Вон там сидел...

– Ах, Лихарев! Так его давно нет.

– Нет? А что с ним случилось? – испугалась она.

– Может, за границу умотал. Он же мастер! А сюда так, для баловства ходил...

– Жаль.

– Чего же жаль? Давайте я вас изображу!

– Вы так не умеете, – ответила Лидия Николаевна и, сдерживая слезы, быстро пошла к выходу.

Поднявшись наверх, она все-таки не выдержала и разрыдалась. Предвкушавший поживу молоденький постовой, увидев плачущую хозяйку розового джипика, растерялся, махнул жезлом и отпустил ее восвояси...

Грибной царь

Роман

Том I

1

Он бродил с корзиной в ельдугинском лесу, в том месте, которое дед Благушин называл Ямье. Наименование это происходило от двух десятков квадратных впадин, превращавшихся весной и осенью в омутки со своей лягушачьей и плавунцовой жизнью. В сентябре по закраинам ям росли ворончатые чернушки, истекавшие на сломе белым горьким соком. Когда-то, в войну, здесь стоял пехотный полк. Стоял недолго: солдатики только и успели понарыть землянок, нарубить дров, изготовиться к зимовью и пустить дымы, как вдруг началось наступление. Что стало с полком? Дошел ли кто из приютившихся в землянках бойцов до Берлина? Воротился ли домой? Неведомо. Колхозницы развезли по хозяйствам дрова, разобрали накаты из толстых бревен, а почва принялась год за годом заживлять, заращивать военные язвы. Но рукотворность этих впадин все еще была очевидна, и дед Благушин показывал возле овражков маленькие приямки – прежние входы в землянки...

Не обнаружив чернушек, он побрел дальше и даже не заметил, как привычный некрупный березняк перерос в чуждое, неведомое чернолесье. Огромные замшелые деревья, каких в ельдугинской округе сроду не видывали, подпирали тяжкий лиственный свод, почти непроницаемый для солнечных лучей. Где-то вверху, в далеких кронах, шумел ветер. Этот гул спускался по стволам вниз, и, ступая на толстые узловатые корни, расплзшиеся по земле, он чувствовал под ногами содрогание, будто стоял на рельсах, гудевших под колесами близкого поезда.

Чаща была безлюдная, даже какая-то бесчеловечная, и его охватило ведомое каждому собирателю тревожно-веселое предчувствие заповедных дебрей, полных чудесных грибных открытий. Однако грибов-то и не было. Совсем! Несколько раз, заведя влажную коричневую шляпку в траве, он бросался вперед, но это оказывался либо обманно извернувшийся прошлогодний лист, либо глянцевый, высунувшийся из мха шишковатый нарост на корне. Ему даже вспомнилась читанная в детстве сказка про мальчика, который неуважительно вел себя в лесу: ломал ветки, сшибал ногой поганки, кидался шишками в птичек, – поэтому грибы в знак протеста построились рядами и покинули свои, так сказать, места исконного произрастания. Юный вредитель с лукошком долго и безуспешно искал по обезгрибевшему лесу хоть какую-нибудь дохлую сыроежку, пока не догадался совершить добрый поступок (какой именно – напрочь забылось). Тогда грибы, встав в колонны, радостно вернулись в лес и сами набились исправившемуся отроку в корзинку.

Иронично решив, что тоже, наверное, стал жертвой грибного заговора, он начал прикидывать, в какую сторону возвращаться домой, но вдруг заметил среди стволов просвет и поспешил туда. Перед ним открылась обширная прогалина, странно округлая и неестественно светлая, словно откуда-то сверху, как в театре, бил луч прожектора. Он сделал еще несколько шагов и обмер: поляна была сплошь покрыта грибами. Исключительно белыми! Поначалу у него даже мелькнула странная мысль, будто бы он набрел на остатки древнего городища, наподобие тех, что находят иной раз в индийских джунглях, и перед ним – проросшая травой ста-

ринная мостовая, сбитая из темно-коричневых, посверкивающих росой булыжников, необычайно похожих на шляпки боровиков.

И все-таки это были грибы!

Сердце его от радости заколотилось так громко и незаконно, что стало трудно дышать. Ему пришлось прислониться к дереву и сделать несколько глубоких вдохов животом, как учил доктор Сергей Иванович. Не сразу, но помогло. Успокоившись, он присел на корточки и вырвал из земли первый гриб – тугой и красивый, именно такой, как изображают на картинках в красочных руководствах по «тихой охоте». Шляпка была лоснящаяся, шоколадная, только в одном месте немного подпорченная слизнем, но ранка уже успела затянуться свежей розовой кожей. Подшляпье, которое дед Благушин, помнится, называл странным словом «бухтарма», напоминало нежный светло-желтый бархат, а с толстой ножки свисали оборванные мохеровые нити грибницы, обметанные комочками земли и клочками истлевших листьев. Он долго любовался грибом и наконец бережно положил его в свою большую корзину, предварительно выставив дно несколькими папоротниковыми опахалами.

Вдруг ему почудились чьи-то далекие ауканья, он вскинулся и застыл, напрягая слух, но ничего не уловил, кроме ровного лесного шума и электрического стрекота кузнечиков, засевших в ярко-лиловых зарослях недотроги. Нет, показалось... Тем не менее им овладела боязливая, горячая торопливость, словно с минуты на минуту сюда должны нагрянуть толпы соперников и отобрать у него этот чудесно найденный грибной Клондайк. Он заметался по поляне, с жадной неряшливостью вырывая грибы из земли и швыряя их в корзину, становившуюся все тяжелее. Наконец ему пришлось оставить неподъемную ношу на середине поляны, рядом с выбеленной солнцем закорючистой корягой, и собирать боровики в свитер, который когда-то ему связала Тоня. Она в ту пору только-только осваивала (как сама любила выражаться) «спицетерапию», не рассчитала – и свитер получился слишком длинный, бесформенный, годный лишь для леса и рыбалки.

Когда грибы заполняли подол, он подбегал к коряге, ссыпал добычу в корзину и снова собирал, собирал, собирал... В одном месте ему вместо боровиков попала семейка обманчивых молоденьких валуев, он рассмеялся и мстительно раздавил притворщиков каблуком. Наконец на поляне не осталось вроде бы ни одного белого. Внимательно оглядевшись, он опустился возле переполненной корзины, потом, сминая отцветший зверобой, лег на спину и долго наблюдал за плавной жизнью облаков. Высоко-высоко в небе метались, совершая немыслимые зигзаги, птицы, похожие отсюда, с земли, на крошечных мошек. Он долго с завистью следил за их горным полетом, пока не догадался, что на самом деле это и есть какие-то мошки, крутящиеся всего в двух метрах от его лица. А догадавшись, рассмеялся такому вот философическому обману зрения.

Внезапно ему пришло в голову, что, если оставить несорванным хотя бы один боровик и дать ему время, из него может вырасти Грибной царь. Он даже вскочил и еще раз пристально обошел поляну: увы, все было собрано подчистую. Ну и ладно! Во-первых, вряд ли удастся снова отыскать это удивительное место, а во-вторых, даже если оно и отыщется, где гарантия, что кто-нибудь не найдет оставленный на вырост боровик раньше? И тогда Грибной царь попадется случайному лесному прохожему!

Он, кряхтя, поднял тяжеленную корзину. От рывка самый верхний белый скатился наземь. Подобрав его и стараясь пристроить понадежнее, он вдруг замер в недоумении: этот последний гриб был точь-в-точь похож на самый первый. И не только размером! Та же лоснящаяся, темно-коричневая шляпка с проединой, затянутой розовой кожей, та же светло-желтая бархатная бухтарма, те же белые, обметанные комочками земли и клочками истлевших листьев мохеровые нити, свисающие с толстой ножки. Он внимательно посмотрел на корзину и с тошнотворной отчетливостью понял, что все собранные им грибы абсолютно одина-

кового размера, цвета и у каждого в одном и том же месте – подживший, затянувшийся след от слизи...

Вдруг ему показалось, будто грибы в корзине еле заметно шевелятся. Пытаясь сомнительной улыбкой развеять глупое наваждение, он решил изучить поднятый боровик и с недоумением почувствовал, как тот чуть подрагивает в руке, словно внутри гриба идет какая-то невидимая, мелочная, но очень опасная работа. Он осторожно разломил шляпку и обомлел: вся мякоть была пронизана сероватыми червоточинами, однако вместо обыкновенных желтых личинок внутри копошились, извиваясь, крошечные черные гадючки. Ему даже удалось разглядеть нехорошие узоры на спинках и злобные блестящие бусинки глаз. Одна из тварей изогнулась и, странно увеличившись в размерах, прыгнула прямо в лицо.

Вскрикнув, он отбросил гриб и, не разбирая дороги, забыв про корзину, побежал сквозь чашу. Ветки хлестали по лицу, липкая паутина набивалась в глаза, а папоротник, как живой, наворачивался на сапоги. Споткнувшись о корень, похожий на врытую в землю гигантскую крабью суставчатую клешню, он кубарем скатился на дно оврага, а когда встал на четвереньки и попытался выкарабкаться, с ужасом увидел, как по самому дну лесной промоины вместо обычного ручейка медленно струится странный слоистый туман. Нет, не туман, а густой, удушающий табачный дым, отдающий почему-то резким запахом женских духов. Ему стало трудно дышать, а грудь пронзила жуткая боль, словно кто-то сначала зажал его сердце в железные тиски, а потом с размаху вогнал в него гвоздь. Он рванул на себе свитер и увидел, что множество гадючек, неведомым образом перебравшихся на его тело, уже успели прорыть серые, извилистые ходы под левым соском...

Он страшно закричал и тотчас проснулся.

2

Перед ним в креслах сидели две курящие девицы – блондинка и брюнетка, одетые по-рабочему: лаковые туфли на высоченных каблуках, короткие – по самую срамоту – юбки и воздушные кофточки с глубоким вырезом. Сквозь матовую, полупрозрачную материю, как сквозь запотелое банное стекло, проглядывала загорелая нагота. На одной были черные колготки со змеиным узором, вторая оказалась голоногой.

– Кажется, проснулся! – тихо сказала брюнетка и, отдав подруге длинную дымящуюся сигарету, наклонилась к нему.

Ее лицо бугрилось той нездоровой свежестью, какую сообщает коже недавно наложенный изобильный макияж. Девица погладила проснувшегося клиента по голове и выпустила в него серую никотиновую струйку.

– Не надо! – взмолился он, поняв, что вечер нанес по своему организму чудовищный алкогольно-никотиновый удар.

Блондинка поняливо усмехнулась и, напоследок глубоко затянувшись, направила табачный дым себе под кофточку, прямо в ложбинку между грудями. Ткнув сигарету в пепельницу с кучей окурков, отвратительно похожих на опарышей для рыбалки, она закинула ногу на ногу – и стали видны маленькие фиолетовые синяки, оставшиеся на бедре от чьей-то требовательной пятерни.

– Жив, папочка? – сочувственно спросила брюнетка.

– Кажется... – вздохнул он.

– Вы так кричали во сне, Михаил Дмитриевич! Мы даже испугались! – сообщила блондинка с недобрым и насмешливым сочувствием.

Девица, конечно же, специально назвала клиента по имени-отчеству, стервозно намекая на некую его постыдную несолидность, свидетельницей, а может быть, и соучастницей которой она стала этой ночью.

– Кричал? Да... Мне приснилось... Чепуха... Грибы со змеями... – сбивчиво объяснил он.

– Вы, наверное, до нас в китайский ресторан ходили? – подбавила ехидства блондинка.

– Почему в китайский? Ах, ну да... – сообразив, кивнул он и с трудом огляделся.

Генеральный директор фирмы «Сантехуют» Михаил Дмитриевич Свирельников лежал в большом гостиничном номере на широкой истерзанной кровати. Из одежды на нем не присутствовало ничего, кроме черных носков, стягивавших щиколотки, которые страшно от этого чесались. Во рту была тлетворная сухость – такую же, наверное, ощутила бы египетская мумия, удивительным образом очнувшись к новой жизни через три тысячи лет. Все тело страдало от ночных излишеств: в голове перекатывалось чугунное ядро боли, сердце колотилось возле самого горла, туда же, кажется, подступала и печень. А душа... душа безысходно маялась утренним позором.

Из провала памяти, точно из адской расщелины, доносились клики давешнего разгула и вырывались подсвеченные грешным пламенем тени содеянного. Теперь оставалось сообразить, как его сюда занесло. Кажется, вчера он помирился с Весёлкиным... Или приснилось? Нет, точно: помирился! Михаил Дмитриевич вспомнил, как ему позвонил Вовико и запел: мол, негоже двум боевым товарищам враждовать из-за каких-то унитазов, мол, пришло время встретиться и, по-мужски поговорив, заключить мир. Без всяких-яких! Свирельников согласился: свара между бывшими компаньонами тянулась давно, всем надоела – да и стоила неदेशево.

Встречу назначили в ресторане «Кружало», где посреди большого накуренного зала в стеклянном стойле жует сено и помахивает хвостом настоящий ослик, а между столами мечутся официанты, наряженные под гоголевских парубков. Пили горилку с перцем, закусывали тонко нарезанным, завивающимся, как стружка, салом, солеными пупырчатыми огурчиками и кровяной чесночной колбасой. Вовико от избытка примирительных чувств одной рукой бил себя в грудь, а другой наливал рюмку за рюмкой. Михаил Дмитриевич, размякнув, раз пять заказывал ошарованным бандуристам песню про рушник: ее очень любил и часто певал во хмелю покойный отец:

Ридна маты моя,
Ты ночей недоспала...

Почему отцу, простому русскому, даже, точнее сказать, простому московскому человеку прилюбилась эта хохляцкая песня – поди теперь догадайся! Но ни одно семейное застолье не обходилось без «Рушника». Пил незабвенный Дмитрий Матвеевич редко, но, как говорится, метко: после пения обыкновенно впадал в буйство, стучал по столу кулачищем так, что брызгала в разные стороны посуда, и костерил мать за какого-то давнего, досадебного, но, видимо, добившегося своего ухажера. Обычно, набушевавшись и намучившись прошлым, отец сам затихал, уронив голову на стол. Правда, бывали случаи, когда скликали соседей вязать буяна полотенцами. Несколько дней после этого отец ни с кем из домашних не разговаривал, а потом, придя с работы, молча ставил на стол, в середку скатертного узора, флакон советских духов, чаще всего «Ландыш». Это был знак примирения. Мать прятала счастливую улыбку и разрешала Мише с братом погулять допоздна. Много лет спустя, после женитьбы, переезжая из родительской квартиры, Свирельников во время сборов нашел в диване десяток нераспечатанных «Ландышей», завернутых в старый материнский халат.

Когда отец умер, эти бешеные вспышки запоздалой ревности забылись, а вот любимая песня осталась, и Михаил Дмитриевич слушал ее в прокуренном «Кружале», роняя слезы:

И рушник вышива-а-аный

На щастя, на до-олю дала-а-а...

Когда принесли жареного поросенка, похожего на загадочного застольного сфинксика, Веселкин торжественно объявил, что отказывается от всяких притязаний на «Фили-палас».

– А еще я тебе изобретателя подарю! Тако-ое придумал!

– Какого изобретателя?

– Фантастика! Для себя берег. Бери, без всяких-яких!

– Пусть зайдет.

– Когда?

– Завтра. Вечером.

– Не пожалеешь!

Потом они обнялись и в знак окончательного примирения больно стукнулись потными лбами.

«А может, это тоже приснилось? – засомневался Свирельников и для достоверности поглядел на девиц. – Нет, не приснилось!»

Две вагинальные труженицы являли собой живое подтверждение вчерашнего соединения врагов. После пьяных поцелуев и плаксивых клятв («Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее!..») Веселкин предложил ослабевшему Михаилу Дмитриевичу закрепить вечную дружбу каруселью с девчонками. Зачем Свирельников, постановивший не изменять Светке, согласился? Зачем? На этот вопрос память, представлявшая собой постыдную невнятицу, ответа не давала.

– Сильно мы вчера?.. – осторожно спросил он девиц, сел в постели, дотянулся и с упоением почесал щиколотки.

– А вы, Михаил Дмитриевич, разве ничего не помните? – надменно ухмыльнулась блондинка.

– Откуда? Папочка вчера такой бухатенький был! – необходимо засмеялась брюнетка.

Нет, кое-что он, конечно, запомнил. Например, как вышли из «Кружала» – и ночной город показался колеблющимся роем жужжащих и светящихся насекомых. Потом они мчались в гостиницу в свирельниковском джипе, Вовико оглядывался, показывал пальцем на какой-то упорно следовавший за ними «жигуль» и хитро улыбался, а Михаил Дмитриевич с пьяной обидой уверял восстановленного друга в том, что вообще никого не боится и никакой охраны не нанимал. Веселкин же хохотал и повторял:

– Ты... ты думал, что я... тебя... могу... из-за «Филей»... пух-пух?! Ну, ты козел! Без всяких-яких!

Еще запомнилась «мамка», доставившая девочек, – строгая и значительная бабенка в кожаной двойке, похожая чем-то на разводящего: «Пост сдан/Пост принят». Пока клиенты оценивающе оглядывали товар, она внимательно осмотрела номер, словно собиралась обнаружить там, кроме двух загулявших приятелей, засаду из дюжины озабоченных мужиков. Потом «разводящая» тщательно пересчитала аванс и заставила Веселкина заменить надорванную пятисотку безупречной купюрой. В завершение, кивнув на улыбающихся девочек, она заученно объявила, что садизм и анальный секс не входят в число гарантированных таксой удовольствий.

– А если очень захочется? – хихикнул Вовико.

– Если очень захочется, договоритесь! – уже из дверей ответила «мамка». – Мое дело предупредить, чтобы не было потом... Ну, сами знаете – не маленькие!

– Строгая! – проводив ее взглядом, сочувственно заметил Веселкин.

– Раньше ничего была, – вздохнула брюнетка. – А после Нинкиной свадьбы – озверела...

– А кто есть Нинка? – почему-то с немецким акцентом спросил Вовико.

– Подружка ее.

– В каком смысле? – уточнил он.

- В том самом! – скривила накрашенные губы блондинка.
- А вы тоже подружки?
- В каком смысле? – хохотнула брюнетка.
- В том самом! – заржал Веселкин.
- Мы нормальные! – холодно ответила блондинка.
- А за деньги?
- Да ну вас! – вопросительно посмотрев на напарницу, заколебалась брюнетка. – Только это как в кино будет. Не по-настоящему...
- Я люблю кино! – обрадовался Вовико.
- Нет! – отказалась блондинка.

Свирельников помнил, как Веселкин уговаривал девиц, вынимая для убедительности из бумажника деньги. Брюнетка соглашалась и что-то долго шептала на ухо блондинке, но та поначалу только мотала головой. Наконец на ее лице стало постепенно проявляться выражение равнодушной безотказности. Наблюдая переговоры, Михаил Дмитриевич сообразил, что слово «лесбиянки» можно составить, сложив «лес» и «Бианки». Так странно звали писателя, сочинившего книжку «Лесная газета», которую в детстве мама читала маленькому Мише. Однако в тот самый момент, когда блондинка почти уже согласилась показать «кино», обрадованный Вовико подмигнул соратнику с таким глумливым предвкушением, что неуступчивая девица, заметив это, поджала губы, выпятила подбородок и отказалась. Наотрез.

– Тогда раздевайся! – повелел разозлившийся Веселкин.

Блондинка, мелькнув гладко выбритыми подмышками, сняла через голову блузку и, глядя исподлобья, огладила ладонями свои большие, тугие еще, с длинными коричневыми сосками груди. Потом она стряхнула с ног туфли, привычно вышагнула из юбочки и осталась в одних обтягивающих тонкую талию трусиках – спереди трогательно кружевных, а сзади суженных до бретельки, затерявшейся меж богатых ягодич.

– Правда, папочка, она у нас красивая? – спросила брюнетка.

– Угу, – согласился Свирельников, стараясь понять, что же именно не нравится ему в этом почти совершенном теле.

А не нравилась ему, говоря по-армейски, «бэушность» обнажившейся плоти, очевидная с первого взгляда, несмотря на косметику и уход. Когда он после школы попал в армию, под Воронеж, в их Втором Померанском краснознаменном артиллерийском полку всю шла борьба с дедовщиной. Незадолго перед этим чеченцы и кумыки до полусмерти, каким-то особенно постыдным образом избили сержанта, призванного из Норильска и пытавшегося обуздать горноаульное безобразие у себя в отделении. Поскольку сержант так и не признался, кто бил, решено было после санчасти откомандировать его куда-нибудь подальше от греха.

Однако за день до выписки он пробрался в казарму и заточкой, изготовленной из автоматного шомпола, убил во сне трех самых отмороженных чеченцев, которых боялись даже офицеры. Парня арестовали и отправили на принудительное лечение, поскольку преступление он совершил, будучи не в себе. Бойцы горных национальностей с тех пор вели себя тише воды ниже травы, потому что с удивлением обнаружили: покладистые славяне тоже могут вот так убийственно сходить с ума. История дошла до министра обороны, сняли командира полка и замполита, а новое начальство, согласно закрытому приказу, объявило неуставным отношениям нещадную войну.

Но тщетно, ведь «неуставняк» не сводился к мордобойю или глумлению «стариков» над «салабонами». Существовали еще некие законспирированные традиции и тайные обычаи, украшавшие заунывную службу. Например, уважающий себя «дед» обязан был вернуться на гражданку непременно в новом обмундировании. Зачем? Ведь дома в лучшем случае в чулане повесит, а то еще и ритуально сожжет во дворе для куража и соседской потехи. Но традиция есть традиция. В конце концов, невесты белое платье тоже на один день шьют.

А как добыть новье, если старшина бдит? И вот над старенькой шинелью, прослужившей два, а то и более годков, совершались чудеса обновления: ее отпаривали, вычесывали, дотошно реставрировали... Все это делалось для того, чтобы начальство не заметило подмены, не угадало, что «дембеля» на последнем разводе перед убытием на «гражданку» стоят в новых шинелях, а «салаги», которым еще служить, как медным, – в старых, отреставрированных. И все-таки, несмотря на немалые ухищрения, достаточно было бросить косвенный взгляд, чтобы сразу понять, где «б/у», а где «новье». Вот эта самая неустрашимая, невосполнимая «бэушность» и чувствовалась в теле блондинки...

Тем временем разделась и брюнетка, огорчив ранней обвислостью своих достопримечательностей.

– Ну-с, – по-жеребьячи заржал Веселкин, – приступим к телу! Право первого выстрела предоставляется...

В это время в номер принесли шампанское. Вовико встряхнул бутылку и пенной струей окатил девушек. Брюнетка радостно завизжала, а блондинка посмотрела на выдумщика почти с ненавистью. Остатки допили.

Шампанское на какое-то время снова вырвало Михаила Дмитриевича из реальности, и следующее, что сохранил мозг, – это голый Вовико, с мстительным пытанием осваивающий блондинку. Еще Свирельников запомнил, как брюнетка сидела на полу возле него и, отчаявшись привести пьяного клиента в отзывчивое состояние, рассказывала о своем страшно ревнивом муже, разрушившем маниакальной подозрительностью семью и вынудившем ее, оставив ребенка матери, уехать из Ростова в Москву на заработки. «Недавно приезжал – умолял вернуться!» – сообщила она. «А ты?» – «Может, и вернусь...» – «А он знает, чем ты зарабатываешь?» – «Не-е! Кроме сестры, никто не знает...»

Блондинка, опершись на локти и содрогаясь всем телом от таранных ударов Вовико, прислушивалась к рассказам напарницы и снисходительно усмехалась.

Далее последовала полная самозабвенность, из которой Свирельникова вернул к жизни страшный сон о грибах и дым от сигареты.

– Ну, Михаил Дмитриевич, платить будем? – строго спросила блондинка.

– За что? – удивился он.

– За все!

– А разве не заплатили?

– Нет. Друг ваш только аванс отдал.

– Странно! – удивился Свирельников, хотя это было как раз в стиле Веселкина, воинствующего халявщика. – Сколько я должен?

– Значит, так... – Брюнетка посмотрела на часы. – Сейчас без пятнадцати семь. Сколько за час – помнишь?

– Помню, – соврал он.

– Значит, вы нас взяли в половине двенадцатого. Умножаем на восемь и еще на два...

– Почему на два?

– Нас же двое.

– А-а-а! Ну конечно...

– Вычитаем задаток – получается...

Сумма, названная брюнеткой, оказалась немаленькой.

– Ты хорошо считаешь! – через силу улыбнулся Свирельников.

– Я бухгалтерские курсы окончила, – гордо сообщила девица.

Он поискал глазами свой пиджак и обнаружил его висящим на спинке стула. Догадливая блондинка встала и, покачивая бедрами, отправилась за пиджаком. Михаил Дмитриевич ощутил запоздалую похмельную похоть и сильное сердцебиение. «Проститутка – бактериоло-

гическое оружие дьявола!» – вспомнил он любимое выражение доктора Сергея Ивановича и взял себя в руки. Девушка, издевательски присев в книксене, подала пиджак. Бумажник явно отошел, из чего Свирельников заключил, что и за ужин тоже пришлось раскошелиться ему.

Ну Вовико, ну жлобиссимо!

Он расплатился. Брюнетка ловко пересчитала деньги, переворачивая и складывая бумажки с бухгалтерской тщательностью. Блондинка тем временем внимательно посмотрела ему в глаза и строго спросила:

– А за вредность?

– За какую еще вредность? – изумился Свирельников.

– За какую? За «анал»...

– За два «анала»! – уточнила брюнетка.

– Я?! – покраснел Михаил Дмитриевич.

– Нет, ты, папуля, даже на «орал» не годился, – по-родственному засмеялась она и обнажила темные карие зубы.

При мысли о том, что с этим антисанитарным существом у него что-то было, директор «Сантехюта» почувствовал тошноту, начинавшуюся от ступней.

– Дружок твой постарался! – уточнила блондинка.

– Боевой папашка! – добавила подруга.

– А где он?

– Уехал. Давно. Сказал, жена ждет.

– Какая жена? Он холостой!

– Значит, наврал! – понимающе усмехнулась блондинка.

– Сколько я должен?

– Сколько не жалко...

Он снова полез в бумажник. Девушки обрадованно схватили деньги и заторопились к дверям.

– Эй, постойте! – окликнул он. – А я? Со мной... Что-нибудь было?

– Ничего серьезного! – весело отозвалась брюнетка.

Напарницы переглянулись, приснули, как школьницы, сбежавшие с урока, и скрылись.

3

Свирельников посмотрел на часы: 6.49. Он разрешил себе полежать до семи, потом с трудом поднялся и пополз в ванную. Зеркало подтвердило худшие опасения: то, что еще вчера вечером было лицом неплохо сохранившегося сорокапятилетнего мужчины, превратилось в гнусную похмельную рожу. От мятной пасты, выдавленной из маленького гостиничного тюбика, его чуть не стошнило. Отравленный организм принципиально отказывался от гигиенического обновления и возвращения к здоровой жизни. Конечно, выход имелся: заказать бутылку водки с острой закуской, поправиться и залечь в номере, предаваясь медоточивой похмельной медитации. Но именно сегодня делать это было никак нельзя.

Он доплелся до телефона, долго, с тупой дотошностью изучал гостиничный проспект и наконец позвонил в рецепцию, чтобы выяснить, где находится сауна. Через пять минут ему внесли в номер белый махровый халат, тапочки и запечатанную душевую шапочку. Свирельников искренне порадовался фантастическим переменам в Отечестве. Он прекрасно помнил суровые советские гостиницы, где среди немногих развлечений значились: коллективная вечерняя охота на тараканов и несуетное командировочное пьянство. А если удавалось урвать одноместный номер, то провести мимо дежурной к себе на ночь девушку было нисколько не легче, чем прошмыгнуть обстреливаемую пулеметами контрольно-следовую полосу.

В сауне он оказался один. Принимая душ, Михаил Дмитриевич долго и придирчиво осматривал своего выдвиженца и на основании некоторых внятных опытного мужчине примет постарался убедить себя в том, что, кажется, ничего не было. А вся эта негаданная вакханалия и в самом деле ограничилась для него рассказом о ревнивом муже, исполненным брюнеткой для охмурения клиента и удовлетворения собственной мечтательности. Хорошо бы! Ведь из-за Веселкина ему уже однажды пришлось лечиться. Еще при советской власти.

В 85-м Свирельников и Тоня как раз вернулись по замене в Москву из Германии и буквально через месяц поссорились. Конечно, не так чудовищно, как в ту чертову новогоднюю ночь, но тоже довольно серьезно. Началось все с обычных упреков: мол, Свирельников совершенно не занимается дочерью, не помогает по дому, а закончилось обвинениями в полной ничемности, которая давно привела бы их семью к жизненному краху, если бы не «святой человек» – Валентин Петрович. Именно он отправил непутевого родственничка после окончания «Можайки» служить не на Камчатку, как предписала комиссия, но в Далыгдорф, что в десяти, между прочим, километрах от Западного Берлина. И теперь вот вынужден снова пристраивать его не куда-нибудь, а в Голицыно, в Центр управления полетами!

Наслушавшись всякого, Михаил Дмитриевич обиделся, собрал чемодан и ушел, хлопнув дверью. Мать, Зинаида Степановна, на постой его, конечно, не пустила. К невестке она относилась с опаской и понимала, что Антонина вмешательства в свою семейную жизнь не простит. Поэтому брачный отщепенец осел у одноклассника и друга Петьки Синякина: тот только успел отдать ключи, показать, где перекрывается газ и хранится тайный манускрипт. С тем и отбыл в творческую командировку на БАМ – собирать материал для продолжения романа о молодых гвардейцах пятилетки «Горизонт под ногами».

Оставшись один в квартире приятеля, Свирельников обнаружил в торшерной тумбочке приличный бар и основательно нализался диковинной в ту пору текилой: Петька только-только вернулся из Мехико с международной конференции «Молодая литература в борьбе за мир». Потом беглый муж лежал в счастливом расслабоне, слушая магнитофонные записи неведомого, но восхитительно антисоветского барда, обладавшего пронзительным ресторанным баритоном, и листал рукопись Петькиного романа, точнее, неприличную версию этого произведения. Поскольку сочинять книжку про ударников пятилетки было делом занудным, Синякин для собственного развлечения каждую героическую главу освежал каким-нибудь совокупительным паскудством. Например, если описывалось собрание, на котором бамовцы брали повышенные обязательства, то в самом конце озабоченный автор живописал, как комсомолцы, приняв проект постановления, тут же в зале под руководством старших партийных товарищей буйно предавались свальному греху. А если молоденькая ударница шла набираться передового опыта в соседнюю бригаду, то возвращалась она оттуда, можно сказать, переполненная самыми изощренными сексуальными впечатлениями.

Срамная версия романа хранилась, разумеется, втайне, доступная лишь друзьям, а к публикации в издательстве готовился правильный, вполне соцреалистический и скучный до икоты вариант. Оставляя другу свое сочинение, Петька просил по прочтении убрать манускрипт назад в нижний ящик стола, запереть, а ключик положить в вазочку. Однако Свирельников инструкцию не выполнил, сунул папку на полку, и благодаря этой оплошности Синякин впоследствии прославился, став родоначальником целого направления в литературе.

Утром беглец наслаждался одиноким похмельем, не потревоженным Тониными упреками, читал, томясь мужским одиночеством, Петькину срамоту, а к вечеру заскучал, позвонил матери – узнать, ищут ли его, и на всякий случай оставил свой телефон. Мать клятвенно пообещала сообщить номер Антонине по первому же требованию. Однако жена на связь не выходила, выдерживая характер. К концу третьего дня Свирельников уже совсем затосковал и сам бы вскоре пошел сдаваться, если бы не Веселкин. Он как раз вернулся в Москву из Улан-Удэ,

куда его законопатили после «Можайки». Получив от Зинаиды Степановны телефон друга, Вовико позвонил, примчался и обнаружил однокурсника, тоскливо дочитывающего синякинскую порнуху. Пробежав глазами несколько страничек, Веселкин возбудился и со словами «без всяких-яких» куда-то ускакал, а вскоре притащил двух сестричек-лимитчиц. Он познакомился с ними в аэропорту и наврал, будто у него есть на примете квартира, сдающаяся по совершенно смешной цене. За крышу над головой девушки были готовы на все. Это «все», которое Веселкин называл почему-то братанием, удивило Свирельникова культмассовой безрадостностью и изобретательной деловитостью: «Делай раз! Делай два! Делай три!» У Петьки в романе то же самое выглядело гораздо заманчивее, романтичнее, а главное – не вредило здоровью.

Во время братания раздался звонок из Тынды от автора. Синякин взволнованно сообщил, что получил от издателей телеграмму: «Для ускорения подготовки к печати срочно требуется второй экземпляр рукописи!» (Впоследствии оказалось: редактор, едучи со службы в Переделкино, по пьяни забыл роман в электричке.) Петька объяснил, где лежит дубликат, и попросил друга срочно доставить его куда следует. Михаил же Дмитриевич, ошалевший от новых впечатлений и алкоголя, по ошибке схватил с полки папку со срамным вариантом. Когда он ехал в метро и от скуки рассматривал попутчиков, ему мерещилось, будто все они повязаны общей развратной тайной: те, что поугрюмее, возвращаются с братания, а те, что повеселей, туда как раз и направляются.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.